

ВРЕМЯ ИМБ 24 1977



Доктор Г. Розенблюм
Крушение чуда: причины
и следствия



В НОМЕРЕ: "БЛОШИНЫЙ РЫНОК" АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА • СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ "НЕВИДИМАЯ КНИГА" • СУДЬБА АЛИИ ИЗ СССР • "ЗЕМЛЯ ИВАНОВ ДА ЕМЕЛЬ"



Наш вернисаж: Один вечер в доме Пановых

◀ Леонид Геллер Мироздание Ивана Ефремова

ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Третий год издания

Выходит один раз в месяц

24
1977

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"

1977

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН
ГЕОРГИЙ БЕН	МИХАИЛ ЛЕДЕР
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	БОРИС ОРЛОВ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ЙОСЕФ ТЕКОА
МИХАИЛ КАЛИК	ААРОН ЯРИВ

Представители журнала:

Англия	Александр Штрмас Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.
Западный Берлин	Лотар Ролл Buschkrugallee 98, 1000 Berlin 47, t. 606-77-61
Канада	Юрий Лурье 305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2 t. (204) 474-9773
США	Эдуард Штейн 7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 387-05-97 USA
Франция	Ричард Кернер 24, rue Lecluse, 75017 Paris 17e, t. 292-12-61
ФРГ	Арий Вернер Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Александр ГАЛИЧ

"Блошинный рынок". 5

Сергей Довлатов

"Невидимая книга". 56

ПОЭЗИЯ

Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ

"Трамвайная Москва". 105

А. ХВОСТЕНКО, А. ВОЛОХОНСКИЙ

"Песня". 112

К. КУЗЬМИНСКИЙ

"Вавилонская башня". 115

ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА

"Крушение чуда: причины и следствия"

Беседа с д-ром Г. РОЗЕНБЛЮМОМ. 118

Леонид ГЕЛЛЕР

"Мироздание Ивана Ефремова". 134

Елена КЛЕПИКОВА

"Земля Иванов да Емель". 152

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Виктор НЕКИПЕЛОВ

"Институт дураков". 175

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

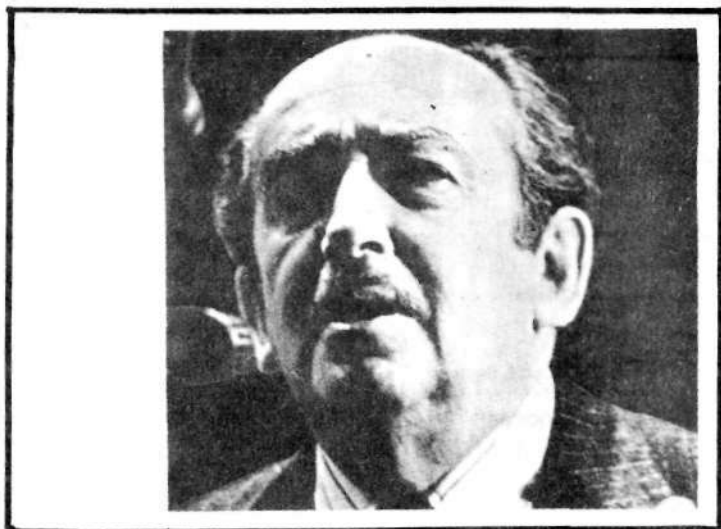
"Один вечер в доме Пановых". 208

Коротко об авторах. 214

"Время и мы" - 1975-1977 годы. 216



"Время и Мы"



ПОЭТЫ НЕ УМИРАЮТ

В этом номере публикуется последняя повесть Александра Галича, которую он просил напечатать в журнале "Время и мы". Он назвал ее "плутовским романом", и, когда читаешь ее, то так близко ощущаешь личность автора, его талант, его юмор и жизнелюбие, что просто невозможно поверить, что все это в прошлом, что нет больше Галича и никогда он уже не выйдет на сцену с гитарой, большой, неуклюжий, чуть сутуловатый поэт и бард, и не исполнит, как только он умел, свой "Старательский вальсок", "Товарищ Парамонову", свои незабвенные "Облака"... Помните:

Облака плывут, облака,
Не спеша плывут, как в кино,
А я цыпленка ем табака,
Я коньячку принял полкило.
Облака плывут в Абакан,
Не спеша плывут облака.
Им тепло, небось, облакам,
А я продрог насквозь на века.

Так о России мог писать только Галич, который столько создал и столько выстрадал под ее вечно изменчивыми и вечно плывущими облаками. Он и сам был подобен облакам, великий поэт, превращенный Россией в скитальца, в вечно и лишенного Родины странника. Таким мы видели его в Израиле, таким он и умер, похороненный на Парижской земле. Лишь стихи его и песни, в которых столько сказано о всех нас, продолжают жить своей жизнью и идти по земле, переметываясь с магнитофона на магнитофон и свидетельствуя нашему суетному и равнодушному миру о том, что рукописи не горят, а истинные поэты не умирают.

Александр ГАЛИЧ

БЛОШИНЫЙ РЫНОК

Почти фантастический, но не научный роман

ПРОЩАЙ, ОДЕССА!

...Автор считает своим долгом предупредить читателей, что в этом романе нет ни единого слова правды.

Все персонажи — и действующие, и даже только упомянутые: Семен Таратута, Леонид Брежнев, Валя-часовщик, Михаил Моисеевич Лапидус и другие — выдуманы автором и в действительности не существуют.

Равно, как и города — Одесса, Москва, Тель-Авив, Париж.

Всякое сходство с подлинными лицами и населенными пунктами — является чисто случайным.

1.

...В тумане расплываются огни,
А мы себе уходим в море прямо!
Поговорим за берега твои,
Любимая моя, Одесса-мама!
Песня.

Одесса, как известно, самый необыкновенный город на всем белом свете.

Я знаю это твердо и не советую никому спорить со мною по этому поводу. Хотя бы уже потому, что история, которую

я собираюсь здесь рассказать, случилась именно в Одессе.

Вернее — в Одессе она началась, а кончилась черт знает где, если вообще кончилась, в чем я, положа руку на сердце, далеко не уверен.

Но началась она в Одессе, это точно. И началась она так: Во вторник, второго октября, одна тысяча девятьсот семьдесят... года, ровно в три часа дня, на улице Малой Арнаутской, у входа в пивной бар "Броненосец Потемкин" остановился Семен Таратута, огляделся по сторонам и двумя руками развернул и поднял над головой плакат — кусок обоев в цветочек, на которых с оборотной стороны красной тушью было написано: "Свободу Лапидусу!"

Пожилой официант с подбитым глазом выглянул из дверей бара, увидел Таратуту, улыбнулся и ласково предложил:

— Заходите, Семен Янович, жигулевское есть.

— После, — сказал Таратута.

— Ну, после, так после!

Официант покивал головою и скрылся.

...Через несколько минут Таратуту окружила толпа. И это не удивительно, потому что это Одесса. В Одессе, например, если вы встречаете на Дерибасовской приятеля и останавливаетесь с ним поболтать, то рядом с вами немедленно остановится еще человек десять и будут слушать — о чем вы говорите — а вдруг вы рассказываете какие-нибудь новости, которых они еще не знают. И вообще — интересно.

...В толпе, окружившей Таратуту, среди обычных уличных зевак и вышедших на шум посетителей бара с кружками пива в руках выделялась пестрая компания длинноволосых молодых людей и девиц, "джинсовые мальчики и девочки", как их мысленно окрестил Таратута. Впрочем, в джинсах, в настоящих джинсах, подсученных по всем правилам моды снизу, с кожаной нашлепкой на задку, в таких джинсах, за которые спекулянты дерут от семидесяти пяти до ста рублей, был только один плюгавый паренек, остальные же просто делали вид, как будто они тоже в джинсах.

Сначала толпа стояла молча, читала плакат, разглядывала Таратуту. Худощавый, чуть выше среднего роста, в больших фасонистых роговых очках, с рыжеватыми курчавыми воло-

сами, Таратута никак не походил на такого голливудского киногероя. Но и уродом его тоже назвать было бы грех. Наблюдалась в нем даже, скорее, некая лукавость, некое, как говорили в старину провинциальные актеры, "неглиже с отвагой", что в немалой степени способствовало его успеху у женщин. Девицы из "джинсовой" компании подтвердили это немедленно — начали поводить плечиками, зазывно улыбаться и щурить глаза.

На Таратуте был клетчатый пиджак производства Германской Демократической республики, серые чешские брюки. Польские мокасины и шелковая, в крупный цветок, японская рубашка, которую жены моряков, распродающие всевозможное шмотье, привозимое их мужьями из дальних странствий, ласково называют "гавайка".

И все это заграничное великолепие было куплено, конечно же, не в каком-нибудь государственном универмаге, а исключительно и только на барахолке.

...О, знаменитая Одесская барахолка, великий блошинный рынок, один из немногих, чудом уцелевших и, при этом, даже официально узаконенных, сказочных островков частной инициативы и предпринимательства! Под открытым небом, на огромном пространстве, огороженном со всех четырех сторон высоким забором, кипит, пылит, кричит, хохочет и сокрушается несметное, неисчислимое человеческое множество, оно выплескивается на прилегающие улочки и переулочки, перемахивает через ограду находящегося в непосредственном соседстве с блошиным рынком еврейского кладбища, и над невозмутимыми могильными плитами раздаются приглушенно страстные голоса:

— Семь пять и точка!

— Сто, как отдать! А если нет, то до свидания, мама, не горюй, ты меня не видел, я тебя не видел!

О, барахолка!

Уже не однажды какой-нибудь вновь назначенный ретивый начальник из Горкома партии или Горисполкома пытался поставить вопрос о ее закрытии. И тогда происходило чудо — сначала где-то в отдалении начинал погромыхивать гром и посверкивать молния, ощущались таинственные под-

земные толчки, колебание почвы, земля расступалась и именно на том самом месте, где стоит Одесса, образовывалась глубокая трещина, в эту трещину бесследно и навсегда проваливался злополучный ретивый начальник, земля смыкалась вновь, а барахолка, хотя и переезжала на какое-нибудь новое место, как ни в чем не бывало продолжала жить своей неопикуемой, безобразной и ликующей жизнью.

...Помнишь, я купил тебе когда-то на этом блошином рынке платье и замшевые туфли маме. Кажется, она их все еще носит, хотя прошло с той поры не меньше четверти века.

Я поехал тогда в Одессу впервые. В Москве и до половины пути стояла зима с метелями, снежными заносами, а Одесса встретила меня слякотью и пронзительным ветром с моря, заледеневшего только у самого берега. У меня была дурацки-благонамеренная идея написать сценарий или пьесу о морях торговом флоте, целыми днями я пропадал в порту, но в воскресенье я все-таки выбрался на блошинный рынок, благо нахотился он тогда еще в черте города.

Первое, что я услышал, когда сквозь толчею протиснулся в узкие деревянные ворота, был истошный женский крик:

— Караул, грабят!

Толстая, усатая баба, закутанная поверх пальто в какое-то невероятное количество платков и шалей, тыкала пальцем в тощего мужичишку, державшего на деревянной распялке мужскую рубашку, и кричала:

— Караул, грабят!

— В чем дело, мадам? — поинтересовался кто-то. — Кто вас грабит?!

— Вот он, — прокричала баба, — за эту жалкую тряпочку хочет пятнадцать рублей!.. Караул!

О, барахолка, блошинный рынок, толкучка, толчок, удивительный сколок человеческого мира, где обман не позор, а напротив — дело чести, славы, доблести и героизма, где каждый стремится обжулить каждого — продавец покупателя, покупатель продавца и где, в конце концов, каким-то непостижимым образом обманутыми оказываются все, даже самые хитрые и удачливые.

И, может быть, если взглянуть попристальней...

Но нет, погоди, погоди!

Еще не пришла пора для авторских отступлений. История, которую я хочу рассказать, только начинается, только отправляется в путь, вот когда она полетит, помчится, поскачет стремглав, тогда время от времени будет просто необходимо остановиться, чтобы перевести дыхание, оглянуться назад, вспомнить.

А пока разумнее всего вернуться, и как можно скорее, к прерванному рассказу.

Итак, толпа, окружившая Таратуту, сперва молчала, ожидая, видимо, что будет дальше.

Но вот, наконец, хорошенькая и знающая, что она хорошенькая, загорелая девица из "джинсовой" компании с черненькой челкой и зеленовато-кариими глазами, отважилась задать первый вопрос:

— А он еврей?

— Кто? — сквозь зубы надменно процедил Таратута.

— Лапидус.

— Норвежец! — усмехнулся Таратута. — Конечно, еврей.

— Он сидит? — снова спросила девица с черненькой челкой.

— Конечно, сидит!

— А где?

Таратута сделал вид, что он рассердился:

— Где, где! Не волнуйтесь, не в Чили! Он сидит в Одессе, где же еще?!

— Давно? — деловито и хрипло поинтересовался замызганный работяга с мотком проволоки через плечо. В свободной левой руке работяга держал банку с мутным огуречным рассолом, отпивал по временам из банки глоток и содрогался всем телом.

— Пять дней, — сказал Таратута.

Откуда-то из задних рядов два голоса, женский и мужской, одновременно задали один и тот же вопрос:

— А за что его посадили?

До сих пор Таратута, как уже было отмечено, отвечал на вопросы лениво и небрежно, словно нехотя. Но, услышав последний вопрос, он оживился. Он ждал когда ему, наконец,

зададут именно этот вопрос. Он потряс над головой плакатом, набрал воздух в легкие и неожиданно зычным голосом закричал:

— За что он сидит?! Они меня спрашивают — за что сидит Лapidус?! Он сидит за то, что он гений, вот за что!..

Где-то в толпе, разбуженный криком Таратуты, отчаянным синюшным плачем зашелся младенец. Таратута недовольно поморщился и замолчал.

Толпа терпеливо ждала, но младенец не унимался.

— Послушайте, мамаша, — сказал работяга, — уймите своего семимесячного! Дайте ему цыцу! Человек же рассказывает, это же просто невежливо!..

— Он будет меня учить! — огрызнулась женщина, но на нее зашикали со всех сторон и она, расстегнув платье, вытащила большую и плоскую грудь, похожую на кусок теста, и поднесла к ней ребенка.

Толпа, подождав еще мгновение и убедившись, что младенец занялся делом, снова обернулась к Таратуте.

—Ну?

— Вон там стояла его палатка, — уже обыкновенным голосом сказал Таратута и мотнул головой в неопределенном направлении. — Там она стояла и там ее нет. Даже палатку они снесли!..

— А чем он торговал? — спросила неугомонная девица с черненькой челкой.

Этот вопрос тоже принадлежал к числу вопросов, заранее предусмотренных Таратутой. Поэтому он сперва одобрительно подмигнул девице с челкой, а потом скорбно усмехнулся:

— Чем он торговал?! Лapidус торговал киселем. Вы меня спросите — каким? Обыкновенным. Клюквенным. Развесным. В порошке. Рубль шестьдесят копеек за килограмм... Этот порошок разводят в кипятке и выходит кисель, знаете?!

— Знаем, знаем! — закивали в толпе.

— Но, — Таратута снова слегка повысил голос, — но, между прочим, таким кисельным порошком торговали по всей Одессе. И на Садовой, и на Фонтане, и на Дерибасовской, всюду! Только у Лapidуса покупали, а у других не покупали! Вы спросите — почему? Вы думаете, тут была какая-нибудь ма-

хинация?! Так вот, представьте себе, никакой махинации не было! Лapidус имел удостоверение на право торговли, с печатью на бланке, которое ему выдала наша родная советская власть...

Таратута оглянулся и, на всякий случай, добавил:

— Пусть она еще живет сто лет, по крайней мере!..

— Много! — громко и четко сказал работяга, отхлебнул из банки глоток рассола и всем телом описал в воздухе круг.

Таратута, не выпуская из рук плаката, со всего маху пнул работягу ногой и прошипел:

— Я этих слов не слышал, понял?! С меня хватит нарушения общественного порядка! Семидесятой я не интересуюсь!..

— Какой — семидесятой? — скривился работяга.

— Уголовный кодекс надо читать! — наставительно сказал Таратута. — Семидесятая статья — антисоветская агитация.

В толпе недовольно загудели. Кто-то крикнул:

— Перестаньте с частными разговорами!

Певучий южный тенорок спросил:

— А почему все-таки у Лapidуса покупали, а у других нет? С разных что ли баз получали?

— Получали с одной базы! — сказал Таратута и хитро прищурился. — Но только у других, когда вы разводили этот порошок водой и получали кисель, — так он был кислый и надо было еще добавлять три-четыре больших ложки сахара, а у Лapidуса он сразу был сладкий...

Тут уже вся толпа разом спросила:

— А почему?

— А потому, что Лapidус — я вам уже сказал — был гений! Гений и человек великой души! Он сам, за свой собственный счет, покупал сахар и добавлял его в этот паршивый клюквенный порошок...

В толпе раздались удивленные возгласы.

Плюгавый паренек в настоящих джинсах высокомерно прошепелявил:

— Сказки! Что же он, этот Лapidус — Робин Гуд, что ли?!

— Не Робин Гуд, а гений! — упрямо повторил Таратута и опять быстро оглянулся. — В другом мире, где, извиняюсь за выражение, человек человеку волк, его бы назначили ми-

нистром киселя... А здесь его посадили и еще обозвали в печати жуликом...

В толпе снова заинтересованно загудели:

— В печати?

— Когда? В какой печати?

— Что значит — в какой печати?! — нарочито спокойно и даже как бы задумчиво переспросил Таратута. — В Советском Союзе существует только свободная печать. Вся остальная запрещена. Заметка о Лапидусе была напечатана в газете "Черноморец" от четвертого октября... Сейчас я вам все объясню...

Но объяснить Таратута ничего не успел.

В толпе внезапно началось какое-то бурное завихрение, кружение, образовалось нечто похожее на водяную воронку, центробежная сила отбросила часть толпы в одну сторону, часть в другую, и в пустом пространстве возникла длинноногая, тощая фигура старшины Сачкова, печально и хорошо известного всей Малой Арнаутской улице и Ильичевскому району вообще.

— Ну, вот! — сказал Сачков, словно продолжая некий прерванный разговор.

Он остановился перед Таратутой и укоризненно покачал головой.

— Что я говорил, гражданин Таратута?! Это самое я и говорил — нет вам доверия, нет и быть не может!..

— Вы, товарищ начальник, не так меня поняли! — туманно ответил Таратута и, опустив плакат, собрался уже было его порвать, но Сачков, неожиданно быстрым и ловким движением, схватил его за руку:

— Нет уж вы, гражданин Таратута, плакат не рвите! Плакат у нас с вами будет как бы вещественное доказательство!

Он потянул Таратуту за рукав пиджака:

— Прошу следовать!..

— Привет, товарищ Сачков! — вывернулся боком из своего окружения плюгавый паренек в настоящих джинсах. — Узнаете?

Сачков хмуро посмотрел на него, пожевал губами и хрипло выдал:

— Нет.

— Как — нет? Я же племянник начальника вашего отделения — Ершова Николая Петровича! Я бывал у вас и...

Не дав плюгавому пареньку договорить, Сачков в упор спросил:

— Ну и что? Вы меня, гражданин, отрываете, понимаете, от исполнения служебных обязанностей! В чем дело?

Паренек в настоящих джинсах смутился, пробормотал что-то невнятное, втиснулся обратно в свою компанию, но пока все это происходило, Таратута уже успел, повернувшись к девице с черненькой челкой, сказать ей негромко, быстро и повелительно:

— Номер!

Проявив незаурядную догадливость, девица ответила так же негромко и быстро:

— Пять-пятьдесят два - семьдесят три.

— Я не запомню! — сказал Таратута и, увидев как у девицы растерянно округлились глаза, усмехнулся: — Знаю, знаю, карандаша нет, записать не на чем...

Он подставил девице злополучный плакат:

— Губной помадой. Здесь.

Девица потрясла головой — черненькая челка разлетелась по лбу — достала из сумочки помаду, крупно и коряво записала на плакате номер своего телефона, после чего плакат приобрел уже и вовсе загадочный вид:

— Свободу Лапидусу, пять — пятьдесят два — семьдесят три!

— Жди звонка! — пообещал Таратута и торжественно обратился к Сачкову.

— Я готов, товарищ начальник!..

Он сам взял старшину под руку. И они вдвоем, пройдя сквозь строй вновь расступившейся перед ними толпы, перешли на другую сторону улицы. Мальчики и девочки из "джинсовой" компании, глядя им вслед, прокричали по слогам громко и недружно:

— Сво-бо-ду Ла-пи-ду-су!..

Долговязая старуха в очках, гид "Интуриста", объяснила гостям из мира, где человек человеку волк, сидевшим в голубом туристском автобусе, что это наша советская моло-

дежь требует немедленного освобождения греческих патриотов.

Розовощекий волк в баварской шляпе с пером спросил:
— Снимать можно?

— Не стоит, — сказала дошлая старуха, — это у нас, знаете ли, повсеместное явление! Поберегите лучше пленку для памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину!..

И, после паузы, великодушно добавила:

— Ну, и еще для герцога Ришелье!..

2.

Начальник двенадцатого отделения милиции Ильичевского района города Одессы майор Николай Петрович Ершов был чем-то вроде белой вороны на ослепительно-черном небе Министерства Внутренних Дел. Люди, подобные ему, люди с прошлым, "ископаемые" — не то чтобы в МВД, а и в обычных-то советских учреждениях, встречаются теперь все реже и реже. Одни умерли, другие — по большей части — одиноко доживают на пенсии свой бессмысленный и крошечный век.

В погожие дни они выползают на Приморский бульвар, сидят на скамейках, греются на солнце и стараются ни о чем не думать и ничего не вспоминать. Иногда они позволяют себе сыграть партию в домино или в шашки, но чаще всего просто молча сидят и, полуприкрыв по-стариковски птичьими веками слезящиеся глаза, смотрят на свое Черное море, которое им так часто снилось в Инте и на Магадане, на Соловках и в Потье, в стремительно короткие лагерные ночи.

Если кто-нибудь заводит разговор о политике, то старики обычно помалкивают. Они давно уже усвоили — те из них, которые способны были хоть что-то усвоить, — что политика их теперь не касается, политика им не по уму. Та самая политика, которую они когда-то шальные от вседозволенности и крови, в простреленных шинелях и кожаных куртках делали, как им казалось, сами.

...В 1938 году молодой военный инженер Николай Ершов вернулся из Испании в Советский Союз. Возвращался он пу-

тем долгим и затейливым — через Францию, Швейцарию, Бельгию, Польшу. В Москве его встречали цветами, поцелуями, рукопожатиями, наградили орденом "Красной звезды". А в скором поезде Москва-Одесса, когда слегка захмелевший Ершов рассказывал своим случайным спутникам о боях под Теруелем, в купе, в сопровождении насмерть перепуганной проводницы, вошли двое — без лиц, без глаз, без знаков отличия — и один из них проговорил, как пролаял:

— Гражданин Ершов?!

Особое совещание приговорило Ершова к расстрелу — высшей мере социальной защиты — за шпионаж в пользу некоего иностранного государства. Расстрел заменили десятью годами лагерей особо строгого режима.

Просидел Ершов, как и положено, не десять, а почти семнадцать без малого лет, так что путь его от Мадрида до родной Одессы оказался куда как более замысловатым, чем это представлялось вначале. Если отбросить в сторону мелкие подробности и незначительные малонаселенные пункты, то путь этот выглядел так: Мадрид, Париж, Женева, Антверпен, Варшава, Москва, Белгород (под Белгородом Ершова сняли с поезда), снова Москва — Лефортовская тюрьма, потом Ярославская пересылка, Магадан, Тайшет, Караганда, опять Москва, где в прокуратуре ему выдали справку о реабилитации "ввиду отсутствия состава преступления" и, наконец, Одесса.

Многочисленная родня, главным образом не Ершова, а покойной его жены Рашели, которую он любил без памяти — но она умерла в конце сороковых годов, так и не дождавшись его — встретила бывшего героя Гражданской войны в Испании без особого ликования. Реабилитированные в ту пору возвращались тысячами — а многих из них давно уже позабыли, давно уже вычеркнули из списка живых, давно уже от них отреклись — что уж тут ликовать?! Тем более, что, как выразилась, стоя в очереди за колбасой, старая одесситка "с нашим правительством не соскучишься!" Глядишь, опять начнут сажать, опять мести под метелку, вот и припомнят тогда тех, кто устраивал для вернувшихся "оттуда" праздничное застолье.

Несколько месяцев Ершов проболтался по чужим и него-

степриимным углам, потом Горисполком дал ему маленькую однокомнатную квартиру в новом районе Одесских Черемушек.

...Подобные районы есть почти в каждом большом городе Советского Союза — унылые одинаковые дома, с одинаковыми крышами, окнами и подъездами, одинаковыми лозунгами, которые вывешивают в праздничные дни и одинаковыми матерными словами, нацарапанными карандашами и гвоздями на стенах. И стоят эти одинаковые дома на одинаковых улицах с одинаковыми названиями — Коммунистическая, Профсоюзная, улица Мира, проспект Космонавтов, проспект, или площадь Ленина.

...Легко вообразить себе эту такую водевильную, но при этом вполне правдоподобную историю — беспробудно пьяный командировочный вылетает из Москвы домой, но по ошибке его сажают не в тот самолет. Самолет, естественно, прилетает в какой-то совсем другой город, но бывший командировочный, все еще не успев протрезветь, садится в такси, произносит заплетающимся языком свой адрес. И шофер привозит его на Профсоюзную улицу к дому номер 116 и командировочный, цепляясь за перила, поднимается на свой четвертый этаж, отпирает дверь своей, как он предполагает, квартиры, вешает пальто на вешалку, швыряет в угол чемодан и заваливается спать. А на рассвете с ночной смены приходит женщина, у которой муж, по случайному совпадению (чего не бывает в водевилях и в советской действительности?!), тоже находился в командировке. Увидев, что муж вернулся, женщина ложится спать, а командировочный, проснувшись утром, тихонько, чтобы не будить жену, отправляется на работу, решив, что позавтракает он по дороге на улице Космонавтов, в кафе "Молодежное". И, конечно же, на обязательной улице Космонавтов имеется обязательное кафе "Молодежное", а подают в этом кафе обязательный завтрак — еле теплую черную бурду, которая называется кофе и очень горячие сосиски в целлофановой обертке — для того, чтобы эту сосиску съесть, надо, обжигая пальцы и произнося шепотом и вслух всякие нехорошие слова, попытаться содрать с нее целлофан.

О, Господи!..

Впрочем, я обещал, что не буду, до поры, отвлекаться. Прощу прощения!

...После того, как Ершову дали квартиру, его вызвали в городской Комитет КПСС, дружески, как говорится, поприветствовали, назначили агитатором (не объяснив, правда, за что он должен агитировать) и ввели в Совет пенсионеров.

Осатанелые и злобные старики и старухи — из тех, что как раз не могли и не хотели ничему научиться, занимались, главным образом, тем, что устраивали допросы гражданкам и гражданам, которые по недомыслию решили ехать в туристическую поездку. И не в какую-нибудь, скажем, родную социалистическую Болгарию, а в так называемую капстрану.

Допрашиваемые гражданки, как правило, судорожно мяли в руке платочки, допрашиваемые граждане просили разрешения закурить. Но курить старики не разрешали. Они заранее рассматривали допрашиваемых как возможных изменников Родины и вопросы задавали самые ехидные и каверзные. Например — разрешена ли в той стране, в которую собрался ехать допрашиваемый, коммунистическая партия и если разрешена, то какова ее численность и кто является ее генеральным секретарем. Или — в каком году состоялся одиннадцатый съезд партии и кто на этом съезде делал отчетный доклад.

Ершов обычно сидел в сторонке, помалкивал, вопросов не задавал, а только про себя дивился — почему советский человек, если ему захотелось увидеть Эйфелеву башню, должен для этого непременно знать, в каком году состоялся одиннадцатый партийный съезд.

От тоски, от раздражения, от одиночества начал Ершов попивать.

Пил он нехорошо, зло. Вечером, уже постелив постель и раздевшись, он ставил на ночной столик бутылку водки, наливал себе полный стакан, включал зачем-то радиоприемник и под громоухание джаза сам с собой разговаривал вслух. Называлось это у него "час беседы с умным человеком".

Так бы он скорее всего и спился, если бы однажды не пригласил его к себе первый секретарь Горкома партии Кандыба и не сказал бы хмуро, не глядя на Ершова, постукивая по

столу огромными пальцами огромной, как лопата, ладони:

— Неприятности у нас, Николай Петрович! Этот... ну, Дронов — начальник двенадцатого отделения милиции — на взятках попался. Брал, сукин сын, с кого не попади! У него в районе артель есть "Инвалиды умственного труда" — клеют, очкарики несчастные, папки для скоросшивателей — так он и с них драл!

— Судить будут? — спросил Ершов.

— Судить не будем, — медленно проговорил Кандыба, — шуму много поднимется. Пошлем в район, куда-нибудь подалее, чтоб с глаз долой!..

Он посмотрел, наконец, на Ершова и вдруг почти искательски улыбнулся:

— А у нас к вам просьба, Николай Петрович! Мы тут с товарищами посоветовались — и из МВД, и еще кое с кем — поработайте в двенадцатом отделении — временно, так сказать, исполняющим обязанности, а?!

...Какой-то остроумец заметил, что самые вечные здания — это временные бараки. Чуть переиначив его слова, можно сказать, что нет должности более постоянной, чем должность "временно исполняющего обязанности".

Вот уже три года без малого тянул Ершов лямку начальника отделения милиции. Изредка он звонил Кандыбе, напоминал о себе и всегда выслушивал один и тот же торопливый ответ:

— Подожди, Ершов, подожди!

...Обо всем этом, и особенно о прошлом Николая Петровича Ершова, знали немногие. И уже вовсе ничего, разумеется, не знал Таратута. Он видел перед собой пожилого человека — полноватого, лысоватого, с курносом носом — картошкой, в нескладно сидящей форме. Колобком перекатываясь из угла в угол по своему кабинету, Ершов всплескивал короткими ручками, сердито фыркал:

— Это надо же!.. Демонстрацию устраивают!.. Свободу Лapidусу! Нашли себе героя-жулика!..

— Лapidус не жулик, — вяло возразил Таратута, — он благородный человек! Он сам за свой счет покупал сахар и...

Ершов быстро и весело, как китайский болванчик, закивал круглой головой:

— Вот, вот, вот! Покупал за свой счет сахар и добавлял его в этот кисельный порошок. Причем добавлял в соотношении пятьдесят на пятьдесят... А теперь — посчитайте! — Он остановился и стал считать, загибая толстые пальцы, — полкило порошка стоит восемьдесят копеек! Так?! Полкило сахара — а сахар Лapidус покупал не по розничной цене, а все на той же оптовой базе — двадцать пять копеек! Так?! Разница — пятьдесят пять копеек. Вычтем двадцать пять, истраченные Лapidусом, и получим прибыль на каждый килограмм... Сколько? Ну-ка, прикиньте, если не забыли арифметику...

Таратута поглядел на Ершова и даже присвистнул от удивления:

— Тридцать копеек!

Ершов засмеялся:

— Точно. Тридцать копеек. С каждого килограмма.

Он снова засмеялся, потер ладонью голову, словно приглаживая волосы, которых не было и в помине:

— Благородный человек! Конечно, надо отдать ему справедливость — до такой комбинации додумается не каждый, но...

Он вдруг остановился перед Таратутой, протянул руку:

— Паспорт.

Таратута, пожав плечами, вытащил из бокового кармана клетчатого пиджака паспорт в картонной обложке, подал его Ершову.

— Фамилия — Таратута, — вслух прочел Ершов, — имя — Семен, отчество — Янович, год рождения — одна тысяча девятьсот тридцать шестой... Место рождения — Варшава...

Он сдвинул брови:

— Варшава? А почему — Варшава?

— А почему — нет?! — нахально возразил Таратута. — Или человек уже не имеет права родиться в Варшаве?!

— Имеет, имеет право! — пробормотал Ершов, слегка зажмурил глаза и услышал внезапно негромкую музыку и нежный хрипловатый женский голос поющий "Вшистка мни едно", и в лицо ему ударил запах кофе, настоящего кофе,

который подавали в той знаменитой "каварне", на Маршалковской... Черт, он уже и не вспомнит теперь, как она называлась!..

Он встряхнул головой и снова уткнулся в паспорт:

— Национальность — прочерк.

Он поглядел на Таратуту:

— А это что значит?

— А это значит, что я не знаю своей национальности! — сказал Таратута. — Были Таратуты евреи, были Таратуты поляки...

— Понятно! — сказал Ершов, уже начиная обо всем догадываться. — В каком году вы приехали в Советский Союз?

— В тридцать восьмом.

— Где жили?

— Сначала в Москве. С родителями. А потом в Свердловске. Там я уже был один. В детском доме.

— Кто-нибудь из родителей жив?

— Нет.

— Понятно! — повторил Ершов.

Теперь ему и вправду все было понятно. И опять, прищурив глаза, он даже попытался выкопать в памяти, а не встречались ли ему среди тех тысяч и тысяч, чьи горемычные жизни на какое-то время пересекались с его собственной жизнью — на пересылках, на этапах, в лагерях — не встречался ли ему польский коммунист по фамилии Таратута?! Впрочем, пойди — вспомни! Столько их было — особенно жалких из-за плохого знания языка, особенно растерянных — из-за полного непонимания — что же это происходит, с лихорадочно-блестящими глазами доходяг!..

Ершов внимательно поглядел на Таратуту.

Кого-то он ему напоминал, этот тип — в своих больших роговых очках, с рыжеватой курчавой головой — кого-то он мучительно напоминал.

— А в Одессе вы давно?

— Девять лет.

— Где работаете?

— В Морском техникуме. Преподаю французский язык. Факультативно, два раза в неделю. И еще работаю тренером

шахматной команды школьников во Дворце Пионеров.

— Ишь ты! — усмехнулся Ершов. — А в милицию вас когда в последний раз приводили?

— Двадцать пятого августа, товарищ начальник, в двенадцать часов дня! — браво отрапортовал старшина Сачков.

Он стоял, как каланча, одна рука по швам, а другой он придерживал ручку двери на тот случай, если задержанный задумает совершить побег.

— За что? — спросил Ершов.

— А он, товарищ начальник, на пляже в Аркадии подписи собирал... Под письмом в Горсовет, чтоб разрешили купаться голыми.

— А-а-а! — насмешливо протянул Ершов, — слышал! Это теперь, старшина, такая мода. Сперва голые люди жили на деревьях, потом — голые спустились на землю, потом начали шкуры на себя натягивать... А теперь все назад — походят голые по земле, а там, глядишь, и на деревья залезут...

Он резко всем телом повернулся к Таратуте:

— Ну, а вам-то все это зачем?

Таратута вздохнул:

— Скучно.

— А мне, думаете, не скучно?! — хотел было сказать Ершов, но удержался и только коротко посоветовал, — купите телевизор! Где вы живете?

— В гостинице "Дружба".

Лохматые брови Ершова удивленно полезли вверх:

— Как так?

— А очень просто, — сказал Таратута, покачивая ногой. — Я жил на Александровской, в доме-башне. Когда полгода назад дом этот рухнул, то уцелевших жильцов Горсовет, до предоставления им постоянной жилплощади, расселил по разным гостиницам... Мне досталась гостиница "Дружба".

— Та-а-ак! — протянул Ершов.

Он сел, наконец, за свой стол, откинулся в неудобном скрипучем канцелярском кресле, помолчал, поглядел на Таратуту, вздохнул:

— И все-таки, хоть убейте, не понимаю я вас... Французский язык, шахматы и вдруг — Лапидус! На кой он вам сдался?

Кто он вам? Дядя?! Тетя?! Что за дурацкий повод для самоутверждения?! Ну, например, эти — как их называют — "инакомыслящие"... Я их, конечно, не одобряю, но у них есть хоть какие-то идеи, а у вас?

— А у меня тоже есть идеи! — с вызовом сказал Таратута.

— Нет у вас никаких идей!

— Нет, есть! В конце концов, могу я иметь свою точку зрения?!

— Можете! — сказал Ершов и вдруг рассердился. — Вы можете иметь свою точку зрения, пожалуйста. А я могу вас за эту точку зрения посадить на пятнадцать суток! — он слегка повысил голос. — И сдается мне, гражданин Таратута, что на сей раз я этой возможностью воспользуюсь!

Наступило молчание.

У старшины Сачкова от довольной усмешки растянуло рот до ушей.

Таратута, глядя в пол, негромко сказал:

— А я болен.

— Чем?

— Печень. Холецистит.

— Ладно! — подумав, сказал Ершов. — Завтра к часу дня придете в двадцать вторую поликлинику. На Пушкинской улице. Скажите в регистратуре, что это я вас прислал. Вас там обследуют, сделают все анализы, и, если вы окажетесь здоровы...

Ершов не договорил, но по его тону нетрудно было догадаться, что если Таратута окажется здоров, то никакой радости ему это не принесет.

— Хорошо.

Таратута встал, спросил:

— Я свободен?

— Пока — да, — зловеще сказал Ершов.

Таратута неловко, боком, поклонился и уже в дверях, которые перед ним с неохотой открыл старшина Сачков, обернулся, поглядел на Ершова:

— А как вы думаете — сколько дадут Лapidусу?

— Не знаю, — сухо сказал Ершов.

Таратута снова поклонился:

— До свиданья.

— До свиданья, — сказал Ершов.

Когда Таратута ушел, Ершов хмыкнул, потрогал зачем-то толстым коротким пальцем нос, покачал головой:

— Ну и тип! На кого-то он похож, а вот...

— Зря вы егопустили, товарищ начальник! — с нескрываемой обидой в голосе проговорил старшина Сачков. — Никакой у него печени нет, врет он все! По нему пятнадцать суток давным-давно плачут! Почистил бы, милый друг, сортиры — живо бы позабыл...

Из-за полуоткрытой двери тоненький голосок секретарши проребетал:

— Николай Петрович, снимите трубочку, из Горисполкома!..

Ершов, поморщившись, придвинул к себе телефонный аппарат, снял трубку:

— Да?!

Густой бас на другом конце провода внушительно проговорил:

— Николай Петрович, привет! Сведения оказались верными... Ну, насчет французов! Нам сейчас из Москвы звонили. Они у нас будут десятого числа. В твоём распоряжении, стало быть, остается одна неделя. Ты как думаешь — сумеешь управиться?

— Постараюсь! — хмуро сказал Ершов и, помолчав, на всякий случай спросил: — Все?

— Все, — сказал бас. — Привет!

Ершов шмякнул на рычаг трубку, как-то брезгливо, локтем, отпихнул в сторону телефон, поглядел на старшину Сачкова, вздохнул:

— Не было печали!

— Случилось что, товарищ начальник? — вежливо поинтересовался Сачков.

— Мэры французских городов к нам едут, будь они трижды неладны! — сказал Ершов и стукнул кулаком по столу. — Приезжают в Одессу десятого. Горисполком предлагает срочно, за одну неделю, почистить район от всяких, не внушающих доверия, граждан...

Он усмехнулся:

— В старину, при царе-батюшке, это называлось проще и определеннее — от студентов, жидов и прочих интеллигентов...

Старшина Сачков, голубиная душа, задумчиво и серьезно проговорил:

— А вот как раз евреев, товарищ начальник, у нас в районе еще о-го-го!

Ершов коротко фыркнул, махнул рукой:

— Ладно, старшина, идите! Скажите там Вале, пусть напечатает объявление — завтра в девять утра совещание всех сотрудников!..

— Слушаю-с, товарищ начальник!..

Оставшись один, Ершов снова тяжело вздохнул, оттопырил губы, зажмурил глаза, потом резко раскрыл их, словно он надеялся увидеть не этот опостылевший ему и тоже как бы временный кабинет с неизменным несгораемым шкафом, в котором не лежало ничего, кроме нескольких экземпляров Самиздатской статьи академика Сахарова "О прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе", изъятой у не внушающих доверия граждан; с неизменным же, в углу, пыльным переходящим знаменем, полученным еще предшественником Ершова взяточником Дроновым за какие-то неведомые заслуги и с двумя вовсе уже неизменными Ильичами — гипсовым бюстом вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина на специальной подставке и поясным портретом вождя мирового пролетариата Леонида Ильича Брежнева в золоченой раме на стене.

Ершов тяжело поднялся, походил, разминая затекшие плечи и руки, по кабинету, остановился, подмигнул вождю мирового пролетариата Леониду Ильичу Брежневу, насмешливо скривил губы:

— Привет! Ну, как дела?! Как доктрина? Искал, небось, тихоньку это слово в энциклопедии — думал, верно, что болезнь какая-то?!

И едва только Ершов произнес все это мысленно, как началась чертовщина. Вернее, не чертовщина, а известный медицине феномен под названием "раздвоение личности". Как правило, раздвоение это у Ершова происходило по ночам, после

двух-трех глотков водки, и начиналось обычно с того, что Ершов — приставала и язва — принимался донимать Ершова — железобетонного — всевозможными и притом весьма неприятными вопросами и вопросиками. Но сегодня чертовщина эта произошла на трезвую голову, средь бела дня, в служебном кабинете.

Первым, как всегда, заговорил приставала и язва:

— Что-то больно ты развоевался, товарищ Ершов! Ты на себя погляди! Швырнул ты им в харю свой партийный билет?! Нет, золотишко, не швырнул! Когда тебе в милиции предложили работать — послал ты их к едрене-фене?! Нет, душа моя, не послал!..

— Так это же работа временная! — неуклюже возразил Ершов железобетонный и Ершов — приставала и язва — даже засмеялся от удовольствия:

— В лагере ты тоже сидел временно!..

Ершов железобетонный, подумав, сказал:

— Знаешь, уж лучше я буду находиться на этом месте, чем какое-нибудь жулье, вроде Дронова!..

И опять засмеялся приставала и язва, закашлялся от смеха, замахал руками:

— Знаю, знаю, слыхал! Тысячу раз слыхал! Именно эти самые слова произносили все начальнички от мала до велика, от прокурора, который требовал для тебя "вышки" до лагерного ката, который бил тебя железною палкою по ногам... И все они потом, после, выдавали себя чуть ли не за спасителей человечества: уж лучше я, чем другой! А почему — лучше? Чем ты лучше? Вот позвонили тебе из Горисполкома и ты, будьте любезны, назначаешь на завтра совещание всех сотрудников!..

— Так надо, — веско сказал железобетонный Ершов.

Приставала, мгновение помолчав, совсем тихонько спросил:

— А то, что ты сейчас обдумываешь — это как? Это, по твоему, не подлость?

— Нет, — неожиданно твердо сказал железобетонный Ершов. — Это не подлость! Это для него, для дурака несчастного, может быть единственный выход... Я таких, как он,

навидался — походит-походит, поскучает-поскучает, а потом раз! — и на колючую проволоку!..

И когда приставала хотел спросить что-то еще, Ершов железобетонный прикрикнул на него:

— И замолчи! И хватит! И точка!..

И на этом феномен "раздвоения личности" кончился так же внезапно, как и начался. Николай Петрович Ершов, временно исполняющий обязанности начальника двенадцатого отделения милиции Ильичевского района города-героя Одессы, приоткрыл дверь своего служебного кабинета и решительно сказал секретарше:

— Валюша, будь добра, соедини меня с полковником Захарченко из ОВИРа!.. Позвони по прямому!..

Секретарша, очень серьезная девица с золотистыми кудряшками, набрала номер, подождала ответа, пропела:

— Николай Петрович, Захарченко!

Ершов резко и плотно закрыл дверь, подошел к столу, снял трубку:

— Здравствуйте, товарищ Захарченко! Это Ершов, из двенадцатого отделения... Товарищ Захарченко мне, понимаете, надо бы с вами обсудить одно очень деликатное и очень-очень срочное дело! Если разрешите, я к вам приеду сейчас!..

3.

Таратуте было скучно.

Он сидел уныло и одиноко на скамейке на Приморском бульваре. В одной руке он держал зажженную сигарету, в другой — яблоко и попеременно то отравлял организм никотином, то насыщал его витаминами.

Несмотря на сносную погоду, народу на бульваре было много, да и то почти все одесситы.

Отремело, кончилось летнее сумасшествие, когда в Одессу — к солнцу, к веселому морю, к дешевым овощам и фруктам — съезжаются несметными ордами москвичи и ленинградцы, жители Сибири, Урала и Средней Азии; когда позавтракать в кафе можно только, простояв часа три в распаленной очереди; когда мечтать о номере в гостинице смеют лишь са-

мые удачливые и ловкие, а прочие люди средних способностей селятся где попало — снимают углы, чуланы, балконы.

А коренные жители, ошалев от этого золотого дождя, ухитряются пустить в дело, приспособить для ночлега и жилья крылечки, лодки и даже гамаки во дворе или в саду.

Это безумие, этот громоподобный прилив, пробиваясь в конце апреля, достигает своего зенита в июле и в августе. Но уже в первых числах сентября начинается стремительный отлив — уезжают родители с детьми школьного возраста, уезжают студенты и преподаватели — уезжают на машинах, улетают в самолетах, берут с боем отходящие поезда.

И Одесса пустеет, опоминается, приходит в себя, подсчитывает доходы — до следующего лета, до нового золотого дождя.

Впрочем, старые одесситы утверждают, что в те кошмарные времена, когда помещики и капиталисты только и знали, что грабили народ и выколачивали из него прибавочную стоимость, именно октябрь месяц считался в Одессе лучшим временем года и назывался "бархатным сезоном".

Именно в октябре месяце, с раннего утра и до позднего вечера, в ротонде на Приморском бульваре, духовой оркестр городской пожарной дружины, под управлением маэстро Кача, наяривал марши, вальсы и польки; и нарядные дамы, покачивая ажурными зонтиками, прогуливались по дорожкам бульвара, в сопровождении усатых кавалеров в котелках и в щиблетах; именно в октябре отчаянный рыжий авиатор Уточкин, при несметном скоплении зрителей, совершал над Одесским ипподромом свои показательные полеты; по вечерам кавалькады карет тянулись в Аркадию, на пляжи, где дамы и господа купались при лунном свете, а потом спешили назад, в город — в игорные дома, в гостиницы, в рестораны.

Знаменитая Иза Кремер со сцены летнего театра "Тиволи" пела негромко и лукаво:

**...Я служила в магазине продавщицей,
Продавщицей тубероз и орхидей,
Вот однажды к нам заходит бледнолицый,
В золотом пенсне, хорошенький еврей...**

А в ресторане Фанкони любимец Одессы, куплетист Яша

Зингерталь — в соломенном конотье с тросточкой — потешал уважаемую публику скабрёзными куплетами:

Поймал — держи,

И не тужи!..

А еще был цирк Чинизелли. И чемпионаты французской борьбы. И гонки под парусами. И скачки. И загородные пикники.

Но Великая Октябрьская социалистическая революция поставила все, как говорится, на свои места — лето есть лето, осень — осень.

— На то она и великая! — вслух сказал Таратута, встал и бросил в мусорную урну недоеденное яблоко и недокуренную сигарету.

... Он не помнил своих родителей. Когда арестовали сначала отца, а потом, два дня спустя, мать, маленького Семёна взяли друзья семьи, немецкие коммунисты, которых Таратута, разумеется, тоже не помнил и даже не знал, как их звали.

В первые же дни войны немецких коммунистов за шпионаж в пользу гитлеровской Германии отправили в лагерь, а Таратуту в Свердловск в детский дом.

Там он и прожил всю войну, среди других, таких же как он, — молчаливых, напуганных, немилосердно коверкавших русский язык малышей. Но их кое-как кормили, купали, водили на прогулки, их учили — и они постепенно, делаясь спокойней и мягче, забывали свою родную речь и Иштван становился Ваней, Кнут — Колей, Марыся — Машей.

Вообще-то им здорово повезло! Будь они постарше, они попали бы не в этот детский дом под Свердловском, а в лагерь под Карагандой, который назывался просто и хорошо "Исправительно-трудовой лагерь для детей врагов народа". Потому-то заведующая детским домом ленинградка Валентина Яковлевна, представляя своих воспитанников какой-нибудь внезапно нагрянувшей комиссии, неизменно сокращала им по году, а то и по два — и время от времени, по ночам, собственноручно переправляла даты рождения и в ученических удостоверениях.

Иногда, на праздники — в день Первого мая, под Новый год — в Детский дом приходили так называемые "гости" — чаще всего — одинокие женщины или странно-напряженные

пожилые супружеские пары. "Бригада обслуживания", которую возглавлял Таратута, встречала "гостей" внизу, в гардеробе, помогала им раздеться, провожала наверх, в физкультурный зал, где "гости" садились на длинные и низкие деревянные скамейки, а "бригада обслуживания" угощала их жидким, чуть теплым чаем с сахарином.

Потом начиналась "художественная часть".

Выходил горбатенький воспитатель Никольский и, поклонившись гостям, исполнял на аккордеоне марш из кинофильма "Цирк". Следом за Никольским выступал хор — пел "Катюшу" и "Полюшко-поле".

Затем девочки танцевали "Танец стрекоз", мальчики гопака, и под конец все вместе удалую и осточертевшую "Калинку-малинку".

Но по тому, как важно и негромко аплодировали гости, по тому, как все так же напряженно сидели они и неловко держали в руках, в задубевших от работы и холода пальцах, граменные стаканы с жидким чаем — было ясно, что не ради марша из кинофильма "Цирк" пришли они сюда, не ради "Катюши" или "Танца стрекоз", что они ждут, чтобы началось что-то главное — и тогда на середину зала выходила с красными пятнами на щеках Валентина Яковлевна и говорила громко, взволнованно, как-то странно ставя ударения на каждом слове:

— Дорогие товарищи! Мы очень благодарны, что вы к нам пришли. Если у кого-нибудь из вас есть ко мне вопросы — то не будем мешать детям — пойдемте в учительскую и там поговорим!..

И случалось так, что на следующее утро кое-кто из вчерашних "гостей" приходил снова.

Но только теперь они не поднимались наверх, в физкультурный зал, а оставались внизу, в гардеробе — и к ним туда, вниз, Валентина Яковлевна торопливо приводила насупленного Колю или заплаканную Машу в кургузом пальтишке, с жалким узелком в руках — и происходил нарочито-короткий обмен словами благодарности и прощания, и "гости", вместе с Колей или Машей, уходили, уходили навсегда — еще не было случая, чтобы кто-нибудь из детей вернулся назад.

Однажды вечером Валентина Яковлевна вызвала к себе Таратуту.

Накануне в Детском доме были "гости", а на следующий день — второго мая тысяча девятьсот сорок пятого года — с самого утра гремели по радио победные марши и торжественные залпы салютов.

И, переждав, пока отгромыхает очередной салют, Валентина Яковлевна сказала:

— Вот что, Семен — тебя приглашают жить с ними Викторovy. Ты, может быть, обратил на них вчера внимание? Мать и дочь. Они такие... — Валентина Яковлевна замялась, подыскивая слово, — ну, тонкие, что ли?! Они москвичи и собираются на днях возвращаться домой. Они тут были в эвакуации... У них в Москве очень хорошая квартира, на Чистых прудах... Правда, они не знают — что с нею, с этой квартирой, уцелела ли она, но они надеются... Мать зовут Аглая Николаевна, она преподает французский язык. А дочку зовут Адель. Ей пять лет. Это ей ты очень понравился, и она сказала, что хочет, чтобы ты был ее старшим братом! Что ты, Семен, по этому поводу думаешь?!

— Можно, — сказал Таратута, неподвижно глядя куда-то в одну точку перед собой. И, подумав, добавил. — Только я Викторовым не буду. Я — Таратута.

... В жаркий июньский день Аглая Николаевна, Адель и Семен приехали в Москву. В Москве, на Чистых прудах, их ждала радость, похожая на чудо. Квартира Викторовых — на втором этаже стоявшего во дворе флигеля — не только уцелела, но как закрыла ее Аглая Николаевна, уезжая с Аделью в эвакуацию, так она и простояла всю войну — нетронутая, невзломанная, живая и невредимая.

— Чудо, чудо, чудо! — пела Аглая Николаевна, бесшумно и стремительно перебегая из комнаты в комнату — а комнат было целых три — открывая окна, сдирая со стекол наклеенные крест-накрест — на случай воздушного нападения — полоски бумаги; поднимая со звоном тяжелые крышки обитых медью, старинных сундуков; распахивая дверцы шкафов.

— Чудо, чудо, чудо! — тоненько вторила матери Адель, за-

водя ключом большие, стоявшие на полу часы и весело поглядывая на Таратуту.

— Чудо, чудо, чудо! — поддавшись настроению этого общего торжества, пел и Семен — и как зачарованный смотрел на шахматный столик, украшенный перламутровой инкрустацией, с расставленными на нем фигурками из пожелтевшей кости. Шахматы Таратута видел и раньше. Горбатенький воспитатель Никольский, за неимением партнеров, играл иногда по вечерам сам с собой, разбирал этюды и задачи и, обратив внимание на интерес Таратуты, научил его — как ходят фигуры. Но доска, на которой играл Никольский, была обыкновенной замызанной картонкой, расчерченной от руки на шестьдесят четыре клетки, и фигуры — деревяшки с облупленной краской, где пуговица от кальсон заменяла белую пешку, а пустой спичечный коробок — черную ладью.

А тут король и королева были действительно королем и королевой; и кони, вставши на дыбы, рвались в атаку, в бой; и тяжелые ладьи, с распущенными парусами, готовы были нанести противнику беспощадный и сокрушительный удар; и пешки-пехотинцы, скромно, до поры, стояли, выстроившись в ряд, в ожидании, пока их пошлют в разведку или бросят в самую гущу сражения.

— Ты играешь в шахматы? — спросила Аглая Николаевна.

— Нет, — честно признался Таратута. — Как ходить — знаю.

— Учись! — негромко сказала, почти попросила Аглая Николаевна. — Андрей Александрович — мой покойный муж — он очень увлекался шахматами. А я любила смотреть, как он играет. Я ложилась на диван — с книжкой — и тихонько смотрела, как он думает, переставляет фигуры, радуется и огорчается... Постарайся научиться играть. И постарайся научиться играть хорошо!

Уже через год Таратута на всесоюзном турнире школьников получил второй разряд. Учился он в школе номер 41 Бауманского отдела народного образования, у Покровских ворот, в Колпачном переулке. Потом в эту школу поступила и Адель. Дома мать и дочь говорили друг с другом, легко переходя с русского на французский, или, как смеялась Аглая Николаевна:

— Говорим туда и обратно!..

Со временем с помощью Адели научился и Таратута говорить "туда и обратно".

И в зимние вечера, если Аглая Николаевна не была слишком усталой, они устраивали коллективные чтения по-французски.

Чаще всего по очереди читали "Дневники" Ренана и хохотали до слез, когда Таратута патетически восклицал:

"Граждане! Если мои сведения точны, то отечество в опасности!"...

Адель, подрастая, хорошела до невозможности, вытягивалась, становилась беспокойнее, нервнее. К увлечениям ее, всегда бурным и коротким, относились в доме почему-то без всякого интереса, а над романами Таратуты, тоже бурными и короткими, посмеивались. Впрочем, один из этих романов — с паспортисткой из районного отделения милиции — оставил в жизни и в паспорте Таратуты загадочный след — прочерк в графе национальность. И за все годы, что прожили они вместе, ни мать, ни дочь ни единым словом, намеком, взглядом не дали Таратуте почувствовать, что он в этом доме все-таки посторонний.

Впрочем, сам он об этом не забывал никогда. По окончании школы он устроился работать в типографию, а свободное время пропадал на Гоголевском бульваре, в шахматном клубе, где, сыграв в нескольких турнирах, довольно легко получил звание кандидата в мастера.

Потом был Двадцатый съезд КПСС, речь Хрущева, вынос "корифея всех наук" из мавзолея, и Таратута уже не назывался больше "сыном врагов народа", а стал "сыном незаконно репрессированных по ложному доносу польских товарищей Сильвии и Яна Таратуты".

Не бросая работу в типографии, Таратута поступил в Институт иностранных языков, на вечернее отделение.

В душный июльский вечер, через день, после того как Таратута сдал последний государственный экзамен, а Адель перешла на третий курс Полиграфического института, Аглая Николаевна умерла. Умерла она так же бесшумно и стремитель-

но, как жила, прикорнула с книжкой в уголке дивана, уснула и не проснулась.

Похоронили ее на Ваганьковском кладбище, в могиле мужа.

... Адель и Таратута не устраивали поминок, они даже и не знали, как это делается. После похорон они просто вдвоем вернулись домой и долго, до самых сумерек, сидели друг против друга у открытого окна, и молчали, курили. Может быть, им это казалось, но какая-то удивительная тишина стояла в тот вечер — и в доме, и во дворе, и даже на улице. Когда старинные часы, которые так тщательно каждый понедельник заводила Адель, пробили одиннадцать, Адель вздохнула и сказала:

— А я выхожу замуж.

— За кого? — тупо спросил Таратута, чувствуя, как у него что-то обрывается внутри и появляется противная тошнота в коленках.

— За одного человека! — сказала Адель, и глаза ее в темноте сверкнули неожиданно по-кошачьи. — Он иностранец. Нам обещали дать разрешение, мы поженимся, и я с ним уеду. А ты оставайся. Ты же здесь прописан.

— Я тоже уеду! — сухо сказал Таратута. — У нас еще не было комиссии по распределению, но мне уже сказали, что на меня есть заявка из Одессы.

— Ну, тогда квартиру придется сдать, — сказала Адель и, наклонившись, положила руку на руку Таратуте. — Тебе, наверное, хотелось бы что-нибудь иметь на память о маме? Возьми "Декабриста Лунина", хочешь?!..

... В давние двадцатые, тридцатые годы профессор истории Андрей Александрович Викторов начал собирать коллекцию миниатюр. Коллекция была небольшая, но собиралась с большим пониманием и любовью, подделок или дешевки Андрей Александрович не брал, и, когда Аглая Николаевна уезжала с Аделью в эвакуацию, единственное, что взяли они из дому, — была эта коллекция миниатюр. И ее же, первым делом, вновь развесили они на стене в первый день, в первый час по возвращении в Москву. Когда покупка нового зимнего пальто, или болезнь, или поездка в Крым наносили непоправимый

урон семейному бюджету, в доме Викторových неизменно появлялся худой длинноносый старик, с одышкой, с шаркающей походкой, с очень внимательными беспощадными глазами.

Адель и Семен ненавидели его до глубины души.

— Ну-с! — говорил длинноносый, вытаскивая из бокового кармана большую лупу в черепаховой оправе, и принимался тщательно изучать миниатюры, хотя и до этого видел их уже не один раз.

Аглая Николаевна — наверное специально для Адели и Семена — делала вид, что расстается с экземплярами коллекции без жалости, легко и только в том случае, если длинноносый тыкал желтым пальцем с обкусанным ногтем в миниатюру, на которой был изображен молодой человек с высоким крутым лбом под спутанными волосами, с открытым лицом, в белой рубашке с отложным воротником а-ля Байрон, Аглая Николаевна говорила коротко и решительно:

— Нет! "Декабрист Лунин" не продается!..

Никаких доказательств, что молодой человек на миниатюре был действительно декабристом Луниным, Аглая Николаевна не приводила, очень сердилась, когда кто-нибудь пытался с нею по этому поводу спорить и требовала в таких случаях доказательства от обратного:

— А докажите, что это не декабрист Лунин!..

... Несколько раз уже из Одессы Таратута писал Адели по адресу, который она оставила ему на прощание. Но письма возвращались обратно, с пометкой "адресат выбыл".

... Обогнув памятник герцогу Ришелье, вокруг которого как всегда толпились иностранные туристы — и худенький, изящный герцог стоял, как Зевс-громовержец, озаряемый вспышками "блицов" — Таратута пошел по Пушкинской улице вниз, к вокзалу.

Ему смертельно не хотелось возвращаться в опостылевшую гостиницу, в безликий, пахнувший хлоркой, опостылевший гостиничный номер, и он, перебрав в уме всех своих немногочисленных одесских знакомых, решил навестить Алешу Тучкова.

Во-первых, Алеша был хром, передвигался при помощи

двух костылей и почти наверняка сидел дома, а, во-вторых, с Алешей можно было ни о чем не говорить, а просто сгонять несколько партий в шахматы.

Проходя мимо подъезда двадцать второй поликлиники, в которую ему завтра к часу дня предстояло явиться, Таратута усмехнулся. Ему неожиданно вспомнились слова этого толстенького неуклюжего майора:

— А зачем вам все это нужно?!..

Таратута и сам не знал — зачем ему все это было нужно.

Жизнь его в Одессе складывалась поначалу обыкновенно и благополучно, такая нормальная жизнь советского учителя — с уроками, профсоюзными собраниями, вечерами отдыха, с кружками по изучению марксизма-ленинизма и техники подводного плавания, с мелкими несерьезными склоками по мелким и несерьезным поводам.

И даже романы — с преподавательницей физкультуры и с актрисой из театра оперетты — были тоже мелкими и несерьезными и не принесли Таратуте ни огорчений, ни радости. Неприятности у Таратуты начались после шестидневной Израильской Войны тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года.

Война эта как бы разделила друзей и знакомых Таратуты на два лагеря — на тех, кто, скрепя сердце, придерживался официальной лжи советской пропаганды — и для Таратуты эти друзья и знакомые перестали существовать навсегда — и на тех, в ком эта война вызвала прилив "израильского патриотизма", ликования, обильных пиршеств, за которыми последовали личные и коллективные заявления в ОВИР (отдел виз и регистраций) с требованием разрешения выехать на свою "историческую родину".

Поддавшись общему настроению — и особенно уговорам Беллы и Лени Капланов, художников Одесской киностудии — подал заявление на выезд и Таратута.

Месяца через три ему в разрешении выехать было отказано и, несмотря на страстные уговоры Капланов "продолжать борьбу", Таратута махнул рукой и постарался обо всем этом позабыть.

Но не забыли, конечно, об этом где-то там, где-то в тех

таинственных кабинетах, на дверях которых висят таблички с надписью "Посторонним вход воспрещен", где в суровых шкафах и сейфах хранятся личные дела всех, от мала до велика, граждан страны победившего социализма. И в папках этих, помимо сведений общего, анкетного порядка, имеются еще особые галочки, закорючки, значки, означающие нечто такое, что вспомнится, что должно непременно вспомниться тогда, когда наступит надлежащая минута.

Таратута как-то не очень обратил внимание на то, как из руководителя курса он стал разовым преподавателем, вместо двенадцати часов занятий в неделю ему оставили всего четыре с соответствующим понижением жалованья, а во Дворце Пионеров вел он теперь не группу разрядников, а возился с малышами-начинающими.

Несколько его знакомых, в том числе и Капланы, после всевозможных мытарств все-таки добились разрешения уехать в Израиль — и потянулись, как деревенские свадьбы, вечера-проводы, на которых пили, плакали, произносили невнятные тосты, клялись не забывать друг друга и под конец кто-нибудь, из числа провожающих, непременно произносил на плохом иврите фразу, которая звучала загадочно, обещающе и прекрасно:

— В будущем году в Иерусалиме!

Из Иерусалима Капланы прислали Таратуте открытку с изображением "Стены плача".

В открытке Леня сообщал, что у них, слава Богу, все хорошо, но он надеется, что будет лучше.

... Таратута пересек привокзальную площадь и пошел прямо по мостовой, мимо палаток колхозного рынка, который упрямые одесситы называли по старинке "Привозом".

Уже начинались сумерки, палатки были закрыты, торговые ряды пусты, и только у запертых деревянных ворот стоял корявый дед-мухомор и держал на вытянутом черном пальце соломенную корзинку, в которой на самом дне лежало несколько копченых рыбешек.

— Эй, дед, почем акулы? — привычно спросил Таратута и, не дожидаясь ответа, зашагал дальше.

Жил Алеша Тучков за линией железной дороги, в старом

слободском районе, где кривые и запутанные переулки сходились и пересекали друг друга под самыми немыслимыми углами, где одноэтажные дома были обнесены прочными глухими заборами, а за ними, за этими заборами, гремели цепями и отчаянным лаем заходились по ночам сторожевые псы.

Таратута отчетливо помнил, что, пройдя палатку "Пиво-воды", следовало обогнуть огромную лужу, не просыхавшую даже в самую жаркую пору, а уже после лужи повернуть направо не то в первый, не то во второй переулок. На всякий случай, Таратута свернул в первый и внезапно услышал за собою шаги.

Он оглянулся — два молодых человека, возникшие как бы из ниоткуда, из пыли, из сумерек, следовали на некотором отдалении за ним.

Они были чем-то странно друг на друга похожи, эти молодые люди, похожи, как два эстрадных танцора, как два безымянных гангстера из многосерийного гангстерского фильма — в черных и словно нарочито узких костюмах, в черных галстуках-бабочках и черных надвинутых на самые брови шляпах. Они шли молча, не торопясь, и когда Таратута слегка ускорил шаги, они тоже пошли чуть быстрее, но по-прежнему, молча, бесстрастно, неумолимо.

Таратута, уже не разбирая дороги, снова свернул в какой-то проулок. Где-то на железнодорожных путях протяжно и тоскливо проревел маневровый паровоз, а когда он умолк, Таратута снова услышал за собою шаги и, чувствуя постыдный липкий страх, рванулся бежать, но тут впереди от стоявшей у обочины черной "Волги" отделился какой-то человек и сказал напевно и негромко:

— А я вам говорю, что теперь никому нельзя верить! Можете себе представить — купил у Вано Шенгеля швейцарские часы "Мозер"! Это фирма, я вас спрашиваю?!

Таратута, опешив, остановился. Человек, стоявший перед ним, был великаном с детским лицом, с детскими бровями кустиком над прозрачно-синими глазами, с великаньей детской ямочкой на великанье-детской щеке. Но больше всего поразило Таратуту, что одет был этот великан точно так же, как и те двое, что преследовали его — в черный костюм, с

черным галстуком-бабочкой на крахмальной белой рубашке.

— Так вот эти самые знаменитые часы "Мозер" останавливаются по три раза в день!

Великан дружелюбно улыбнулся Таратуте:

— Или вы мне скажете — который сейчас точно час?

Таратута вытащил руку из кармана, и в это мгновение сзади его чем-то быстро и сильно ударили по голове и сначала ему показалось, что он слышит собственный крик, но это ему, разумеется, только показалось, потому что он упал, словно провалился в небытие и ничего уже больше не чувствовал, не видел, не слышал.

Он очнулся или, вернее, его разбудили громкие голоса, смех, громыханье посуды, брэнчанье гитары — где-то рядом, за стеной, по соседству, происходило пиршество, а сам Таратута лежал на узкой и неудобной кушетке, в очень маленькой полутемной комнате, вся обстановка которой, собственно, и состояла из этой кушетки, нескольких стульев и письменного стола, заваленного бумагами.

Настольная лампа под зеленым абажуром была накрыта сверху вафельным полотенцем, и такое же вафельное полотенце — но только влажное — лежало на голове Таратуты, на том самом месте, чуть повыше виска, где пришелся удар.

Рубашка, "гавайка", была расстегнута на груди, польские мокасины стояли внизу под кушеткой, а демократически клетчатый пиджак аккуратно висел на спинке стула.

Таратута чуть приподнялся на локте, удивляясь тому, что не чувствует боли — только какую-то странную успокоительную усталость.

За стеной повелительный женский голос, перебивая общий шум, крикнул:

— Умер-шмумер, кому это интересно?! Ша, об абортах — Ваню будет петь! Гитара зазвенела громче, а потом необыкновенно чистый и глубокий баритон, выговаривая старые русские слова с неожиданными грузинскими придыханиями и цоканьем, запел:

— **В том саду, где мы с вами встретились,
Ваш любимый куст хризантем расцвел,
И в душе моей расцвела тогда
Жажда нежная чистой любви...**

На редкость слаженный, с тончайшими подголосками хор подхватил:

— **Отцвели уж давно.**

Хризантемы в саду...

Потом, после короткой паузы, баритон одиноко закончил:

— **Но любовь все живет,**

В моем сердце больном!

Повелительный женский голос всхлипнул:

— Ах, Ваню!..

Раздались аплодисменты и одобрительные возгласы.

Тихонько скрипнула дверь, и Таратута, дернувшись и на этот раз почувствовав боль, увидел, что в освещенном проеме двери стоит тот самый великан.

— Очнулись, Семен Янович? Вот и хорошо! Как чувствуете?

— Где я? — задал Таратута вполне естественный в его положении и вместе с тем звучащий почему-то пошло вопрос.

— Вы в ресторане Фанкони, Семен Янович, — ответил великан-младенец и опустил на стул, стоявший возле кушетки. — Теперь он называется ресторан "Волна". Вы лично лежите в кабинете администратора, он его нам любезно уступил, когда мы с вами сюда приехали... Я надеюсь, Семен Янович, я хочу надеяться от всей глубины сердца, что вы забудете это кошмарное недоразумение! Вы понимаете, есть в Одессе один человек... Нет, вообще-то их много, но в данном случае речь идет об одном — который имеет скверную привычку, чтобы не отдавать долги... Ну, и наш друг из Ташкента обратился к нам, чтобы сделать этому человеку небольшое внушение... Вы, я думаю, понимаете, Семен Янович, что я сам подобными делами не занимаюсь, на это у нас есть мальчики — Валерик, Толик, другие... Но сегодня особенный день, мы все торопились сюда, к Фанкони, на юбилей месье Раевского, так мальчики попросили, чтобы я их подвез...

— А кто вы такой? — строго спросил Таратута. — И почему вы знаете мое имя?

— Видите ли, Семен Янович, ошибки в жизни случаются с каждым! — сказал великан-младенец и деликатно кашлянул в кулак. — Нам было совершенно точно указано время и ме-

сто, но когда вы подошли, так я сразу почувствовал, что здесь что-то не так... Но было поздно! Потом уже в машине, мы, извините, посмотрели ваши документы, и я так расстроился, что едва не поехал на красный свет... Человек играет в шахматы — вы даже не представляете, Семен Янович, какое я имею уважение к этой игре... У меня в мастерской висит портрет Фимы Геллера с его собственноручной подписью... Так вот — человек играет в шахматы, а его бьют по голове... Это же кому-нибудь рассказать, так не поверят!..

— Чем, кстати, меня ударили? — все так же строго спросил Таратута и потрогал пальцем ушибленное место.

Великан весело улыбнулся — на щеке появилась детская ямочка — и пожал плечами:

— Об чем будем говорить?! Мешочек с песком, Семен Янович, всего-ничего.

Мальчикам же было поручено просто сделать, чтобы человек знал, что о нем помнят.

Великан встал, поправил галстук-бабочку, проговорил сдержанно и скромно:

— А теперь, Семен Янович, разрешите представиться — по паспорту я Валерий Исаевич Шиндель, очень приятно. Но вы же, хоть вы и не коренной одессит, вы же знаете Одессу. В Одессе не могут без кличек. Так вот — друзья, и знакомые, и даже незнакомые — они меня называют Валя-часовщик!

— Валя-часовщик?!

Таратута от удивления даже сел.

Валя-часовщик!

Валя-часовщик в Одессе был личностью почти легендарной, чем-то вроде современного Мишки Япончика. Многие вообще сомневались, существует ли он на самом деле, этот некоронованный король блошиного рынка, подпольный миллионер, глава всех комбинаторов и махеров; человек, за которым уже добрый десяток лет безуспешно гонялись работники отдела борьбы с хищением социалистической собственности (ОБХС), человек, о котором рассказывали десятки самых невероятных историй, рассказывали со злобой и со смехом, с огорчением и тайной радостью.

Увидев, какое впечатление произвело на Таратута его имя, Валя-часовщик улыбнулся:

— Слышали обо мне?

— Да, я о вас слышал! — медленно проговорил Таратута.

— Одесса! — вздохнул Валя-часовщик. — Человек сидит в своей мастерской, в подворотне на улице Карла Маркса, бывшей Екатерининской, чинит часы, выполняет и даже перевыполняет план — так к нему каждый день ходят всякие типы, в форме и не в форме — и морочат голову, что вчера я будто бы был в Тбилиси, а позавчера во Львове, а третьего дня в Риге, и где мои бриллианты, и где трикотаж, нейлон и так далее, и тому подобное... Ну, они как приходят, так и уходят, но вы же понимаете, Семен Янович, что мне обидно...

Грузинский баритон, из-за неплотно прикрытой двери, громко позвал:

— Валя, где вы пропали?! Мы вас ждем!

— Сейчас мы идем! — ответил Валя-часовщик, бережно снял со спинки стула клетчатый пиджак, церемонно протянул его Таратуте. — Я вас прошу, Семен Янович... Сегодня, я это уже говорил, очень знаменательный день. Восемьдесят лет меся Раевскому, можете себе представить?! Сейчас вы его увидите, так вы ахнете! Это не человек, а живой музей! Он всех нас учил, когда мы еще были слепыми!..

...В небольшом банкетном зале, за парадно-накрытым столом, сидело человек двадцать гостей — пришедших, приехавших, прилетевших в Одессу, специально, чтобы отпраздновать юбилей своего старейшины, своего, как выражаются дипломаты, дуайена, Антона Ильича Раевского, старого комбинатора, всего лишь несколько лет тому назад удалившегося на покой. Здесь, за этим парадным столом, подтверждая, так сказать, воочию мудрость Ленинской национальной политики, сидели жулики из многих республик — из Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Латвии и, разумеется, одесситы — русские и евреи.

И все мужчины, все как один, были в строгих черных костюмах с черными бантиками, и перед каждым стояла на столе персональная бутылка армянского марочного коньяка, а перед женщинами — они были в явном меньшинстве — бутылка

кахетинского или муската и букет цветов. Валя-часовщик усадил Таратуту на почетное место, по правую руку от юбиляра меся Раевского — сухонького старичка в пенсне, с каким-то нежным цыплячьим пухом на голове и с маленькими, очень выхолещенными и очень подвижными руками. Меся Раевский, единственный из всех присутствующих, пил не коньяк, а минеральную воду.

Два молодых человека, на другом конце стола, увидев Таратуту, поспешно потупили глаза и сделали вид, что они поглощены едой.

— Узнали, Семен Янович? — улыбнулся Валя-часовщик, — Валерик и Толик. Вы не держите на них зла, Семен Янович! Произошло кошмарное недоразумение! А вообще-то они очень хорошие мальчики из очень хорошей семьи — у них папа заведующий еврейским кладбищем...

— Ясно! — сказал Таратута. — Папа заведует кладбищем, а сыновья поставляют ему клиентов...

Валя-часовщик хохотнул, потрепал Таратуту по плечу и с неожиданной для своих великаньих размеров легкостью поднялся, подошел к пожилому грузину, который сидел, чуть отодвинувшись от стола, и держал на коленях гитару. Валя-часовщик, наклонившись, что-то зашептал ему на ухо, и пожилой грузин улыбнулся, медленно повернул голову, весело и внимательно поглядел на Таратуту.

— Хорошо! — громко сказал он и бережно отложил в сторону гитару. Валя-часовщик вернулся на свое место, сел, спросил:

— Семен Янович, вы какой коньяк уважаете больше — армянский или французский?

— У меня что-то с печенкой...

— Друзья мои!

Пожилой грузин встал, плеснул себе в бокал, на самое донышко, несколько капель коньяку, поднял бокал и проговорил уверенно и небрежно:

— Друзья мои! Будем считать, что небольшой художественный перерыв закончен, и я позволю себе вернуться к исполнению своих прямых обязанностей... Мы уже пили за здоровье нашего юбиляра, нашего дорогого Антона Ильича

Раевского — и мы еще будем за него пить, но сейчас я хочу поднять тост за прекрасного человека, которого знают пока не все, но те, которые знают, — уже горячо любят! — он снова весело посмотрел на Таратуту, которому Валя-часовщик поспешно пододвинул бокал с коньяком. — И для того, чтобы, друзья мои, этот тост был вам более понятен, я расскажу одну короткую притчу... Вот летит птица... Она летит, смотрит по сторонам и видит — стоит Казбек... Могучая гора со снеговыми вершинами, с глубокими ущельями... Стоит Казбек, и где-то внизу проплывают облака, а на вершинах снег, тишина, вечный покой... А птица летит и летит... Она долго летит и видит — Эльбрус! Тоже могучая гора — и тоже облака проплывают где-то внизу, а наверху — снег, лед, тишина... А птица все летит и летит... И вот она пролетает мимо Тбилиси, мимо "Белого духана", и заглядывает в окно, и видит, что сидят вместе, за одним столиком, два человека, назовем их Коля Дондуа и Беня Шапиро, и они сидят, и едят шашлык, и пьют кахетинское... И что же думает птица?! А вот что она думает — гора с горою не сходится, а человек с человеком сходятся! Так думает птица, и она правильно думает! Давайте же выпьем за нашего нового знакомого, который когда-нибудь, я в этом уверен, станет нашим старым знакомым — за Семена Яновича Таратуту!..

И все, кроме меся Раевского — он только похлопал в ладоши, — поднялись со своих мест, и выпили за здоровье Таратуты, и даже мальчики — Валерик и Толик — покивали ему с другого конца стола и сделали руками жест, означавший, что — как уже заметил Валя-часовщик — ошибки в жизни случаются с каждым и что они просят не держать на них зла. А коньяк был и вправду замечательный, редчайшего букета армянский коньяк, и Таратута, выпив, почувствовал, как теплеет у него в груди и как странное чувство успокоительной усталости сменяется успокоительной беззаботностью и легкостью.

А Валя-часовщик налил ему еще, и Таратута, неожиданно для самого себя, спросил:

— Скажите мне, Валя... Это ничего, что я вас так называю?

— А как же вам еще меня называть?! — удивился Валя-часовщик.

— Хорошо. Скажите мне, Валя, объясните мне — а почему, собственно, вы так со мною возитесь?! Вы же могли просто уехать...

— Семен Янович, что вы говорите?! — с искреннею обидою в голосе перебил его Валя-часовщик и даже всплеснул руками. — Мы же не какие-нибудь бандиты, чтобы оставить человека лежать на улице в бесчувственном состоянии... Тем более, что, по сводке погоды, к вечеру ожидается дождь! Нет, мы взяли вас в машину, чтобы отвезти домой. Но когда мы посмотрели ваши документы и увидели, что, во-первых, вы шахматист, а я вам уже сказал, какое уважение я имею к этой игре... И что, во-вторых, вы живете в гостинице, так мы решили привезти вас лучше сюда... Ну, а уже здесь, Ваню — тот, который сейчас говорил тост, — он узнал вас... Он видел, как вас сегодня забирали в милицию, за то, что вы требовали освободить Михаила Моисеевича Лапидуса...

Таратута усмехнулся:

— И вы решили, что я из ваших?!

Валя-часовщик искоса, слегка прищурясь, посмотрел на Таратуту, медленно покачал головой, и лицо его на какую-то долю секунды изменилось до неузнаваемости — оно вдруг стало умным и немножко печальным.

— Нет, Семен Янович, — негромко сказал Валя-часовщик, — вы не из наших! И не дай вам Бог стать когда-нибудь нашим! И поверьте, что я это говорю вполне серьезно...

— А почему?

— А потому, Семен Янович, что ни один человек из тех, что сидят сейчас за этим столом, не знает, что будет с ним завтра, и не может спать спокойно. А здесь — и вы опять-таки можете мне поверить — сидят люди, у которых есть деньги... Они, конечно, не Онасисы или Ханты, но они могли бы многое себе позволить... И не имеют этой возможности... Поганая "Волга", на которой я езжу, так она тоже, официально, мне не принадлежит... Один уважаемый доктор наук дал мне, будто бы, доверенность, что я имею право пользоваться его машиной... Но ОБХС к этому доктору наук не ходит, оно ходит ко мне...

А уважаемый доктор наук содрал с меня за эту старую рухлядь вдвое больше, чем стоит новая "Волга". Но я не могу иметь свою машину, потому что я сижу в подворотне на Карла Маркса, бывшей Екатерининской, и чиню часы... И все, Семен Янович, в этом роде! Круговорот азота в природе! Да, кстати, а каким образом вы знакомы с Лапидусом?

— А я с ним не знаком! — сказал Таратута, снова и намного внимательнее, чем в первый раз, разглядывая сидящих за столом. — Мне просто рассказали о нем, и я...

Не договорив, он задержался взглядом на курносой девчонке в форме стюардессы, спросил:

— А вон та стюардесса, она из ваших?

Валя-часовщик улыбнулся:

— Катюша? Из наших. У нас, Семен Янович, налажен воздушный мост Одесса—Тбилиси. Вы же понимаете — далеко не все можно посылать по почте... Катюша — это наш лучший связной...

Он наклонился к Таратуте, тихо спросил:

— Интересуетесь, Семен Янович? Вы скажите, это можно устроить.

Таратута смущенно поежился, снял очки, подышал на стекла, протер их платком, надел:

— Но она же девчонка, Валя! Ей же лет семнадцать, не больше.

— Восемнадцать, для точности! — засмеялся Валя-часовщик. — Но это не имеет значения! В женщине, Семен Янович, значение имеет не возраст, а вес. Если больше, чем тридцать пять килограмм — то все в порядке. Меньше чем тридцать пять — можно получить неприятности...

И, окончательно развеселившись, Валя-часовщик громко окликнул:

— Катенька, деточка! Скажи дяде Вале, какой у тебя будет живой вес?

— Сорок четыре, дядя Валя! А что?

Валя-часовщик снова засмеялся и игриво толкнул Таратуту плечом:

— Вот видите, Семен Янович?! Но только, между прочим, я имею к вам лучшее предложение... Я даже удивляюсь на са-

мого себя, как я об этом сразу не подумал... У меня есть две хорошие знакомые — Лида и Тоня... Вы смотрели, Семен Янович, кино — "Королева Шантеклера"? Так вот — эта самая королева — она может, как говорится, бегать Лидочке и Тоне за пивом... У вас в гостинице, Семен Янович, я надеюсь, отдельный номер?

— Отдельный.

— Ну, вот! — удовлетворенно кивнул Валя-часовщик. — Когда наш небольшой товарищеский ужин закончится, вы идите домой и ждите... Я отвезу месье Раевского, потом я заеду за Лидочкой и за Тонечкой. А потом мы приедем к вам...

— Друзья мои!..

Это опять с бокалом в руках поднялся пожилой грузин-тамада и, когда все сидевшие за столом замолкли, проговорил прочувственно, торжественно и негромко:

— Дорогие мои друзья! Я хотел бы, я очень хотел бы, чтобы сейчас, в эту минуту, в эту долю мгновения, остановились бы все часы на свете, как они почему-то останавливаются у нашего друга Вали-часовщика...

Он усмехнулся, а Валя-часовщик, взглянув на свои часы и удостоверившись, что они и вправду снова остановились, погрозил тамаде пальцем.

— Но, — чуть громче сказал тамада, — только глупые люди думают, что часы и время — это одно и то же. Нет, друзья мои, мы-то с вами знаем — часы могут остановиться, а время не останавливается, оно идет и идет... Но некоторые часы иногда показывают точное время... И я вижу, как мои скромные часы "Полет", нашего отечественного производства, — и поэтому я им, разумеется, верю — показывают, что сейчас восемь часов тридцать минут... А наш дорогой юбиляр, наш горячо любимый и уважаемый Антон Ильич Раевский — мы все об этом помним — имеет такую привычку, чтобы не позже, чем в десять часов, ложиться спать! Я уверен, что еще не раз мы будем сидеть за этим, или за каким-нибудь другим столом, и поднимать тосты за здоровье Антона Ильича, и желать ему долгих и счастливых лет — и все-таки... Я представляю себе, как я возвращаюсь к себе в Тбилиси, и меня встречает моя

доченька, моя красавица Натэллочка, и первое, что она меня спрашивает, — "Папа, — спрашивает она, — а какую историю рассказывал тебе месье Раевский?" И неужели я ее огорчу? Неужели я ей отвечу, что наш дорогой Антон Ильич Раевский не рассказал нам на этот раз никакой истории?! Быть этого не может!

Он повернулся к Раевскому:

— Дорогой Антон Ильич! Я не сомневаюсь, что выражу общую просьбу, — расскажите нам, пожалуйста, какую-нибудь историю, какой-нибудь поучительный случай из вашей благородной и замечательной жизни! Просим!.. И все, в один голос, поддержали тамаду:

— Просим!..

Пышнотелая блондинка, сидевшая рядом с тамадой, повелительно крикнула:

— Ша! Антон Ильич, миленький, расскажите что-нибудь из царского времени!

— Просим!

Антон Ильич Раевский жеманно, по-актерски, поулыбался — ну, чего, дескать, пристали; но, тут же, не дожидаясь повторных просьб, встал, повел из стороны в сторону остреньким носиком — словно к чему-то приняхался; напевно произнес:

— Медам и месье!..

...Кстати, некоторых читателей может, вероятно, удивить эта форма обращения "медам и месье".

Дело в том, что в начале прошлого века одним из генерал-губернаторов Новороссийского края, в состав которого в ту пору входила Одесса, был француз герцог Ришелье. Герцог этот — "дюк" Ришелье — приложил немало стараний для благоустройства Одессы, именно с тех лет начинается современная история этого города, и поэтому всякий уважающий себя одессит — от торговли семечками с Пересыпи до зубного техника на Садовой — совершенно твердо убежден, что в его жилах течет капля благородной французской крови.

— Медам и месье! — сказал Антон Ильич Раевский. — Я вам расскажу...

РАССКАЗ АНТОНА ИЛЬИЧА РАЕВСКОГО О ТОМ, КАК В 1910 ГОДУ ПРИЕЗЖАЛ НА ГАСТРОЛИ В ОДЕССУ ВЕЛИКИЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ТРАГИК ТОМАЗО САЛЬВИНИ

— Видите ли, медам и месье, этот замечательный день, который я запомнил на всю мою жизнь, начался довольно-таки паршиво! Был я тогда человек молодой, горячий, хватался за все... Ну, и среди прочих дел, занимался немножко антрепризой... Конечно, на то, чтобы привозить в Одессу крупные имена — Яшу Зингерталя или Шаляпина — на это я еще не имел подходящего капитала, но как раз осенью тысяча девятьсот десятого года мне удалось выписать из Петербурга Сашу Потемкина... Такой, знаете, русский богатырь, красавец... Играл сам на гармошке и пел куплеты... Женщины по нему сходили с ума! Так вот у этого Саши Потемкина по дороге из Петербурга в Одессу разболелись зубы, а когда он приехал, так у него начался флюс... Вот такая раздутая щека, говорить не может, только стонет, матерится и хлещет водку! А у меня снят зал в Аркадии, у меня висят афиши, у меня продаются билеты... Что делать, я вас спрашиваю?! Я беру этого Сашу Потемкина, сажаю его на извозчика и везу на Екатерининскую... Там живет моя знакомая женщина, зубной врач, Ревекка Захаровна Гордон... Красавица, между прочим, брюнетка! Она приглашает нас в кабинет, вне очереди, предлагает Саше Потемкину сесть в кресло и открыть по возможности рот, наклоняется к нему и... Ну, вы, я думаю, догадываетесь, что делает такой Саша Потемкин, когда к нему наклоняется интересная женщина с пышным бюстом... Сначала Ревекка дала по морде ему, потом она дала по морде мне, потом мы у нее просили прощения, и она нас простила... В общем, оставил их вдвоем, а сам поехал домой... Я приезжаю домой, меня встречает жена и говорит — у тебя, говорит, был какой-то очень важный господин и оставил тебе свою визитную карточку... Она подает мне карточку, так уже по одной этой карточке я понимаю, что тут что-то особенное — бристольский картон с золотым обрезом... И крупными буквами напечатано "Теофилос Кастаки, негодник". А сбоку, от руки приписано — "жду вас в гостинице "Лон-

донская", в номере три, прошу явиться не мешкая, Т.К." Так, прямо, и написано, черным по белому "прошу явиться". Ну, я меняю сорочку, еще раз бреюсь, опрыскиваюсь одеколоном и еду... В гостинице "Лондонская", внизу, меня спрашивают, как моя фамилия, я называю, меня провожают к дверям третьего номера, я стучу и слышу приятный голос: "Войдите!" Я вхожу и вижу — на диване полулежит пожилой, но еще довольно интересный господин с черными усами, в шелковом красном халате с золотыми драконами — я потом купил себе точно такой же — рядом с ним сидит роскошная дамочка, которая ему годится если не во внучки, то в дочери, во всяком случае... И на дамочке кисейный пенюар — откровенно говоря, его могло и не быть — такой он был прозрачный... Но я на дамочку не смотрю, а смотрю на господина Кастаки — я сразу понял, что это и есть Кастаки — и представляюсь, скромно, но с достоинством:

— Раевский!

— Садитесь, господин Раевский! — говорит Кастаки и показывает мне рукою на кресло. Я сажусь, подтягиваю брюки, жду.

— Видите ли, господин Раевский, — говорит Кастаки, — вы, надо полагать, читали в газетах сообщение о том, что в Одессу, на гастроли, приезжает мой друг, великий итальянский трагик Томазо Сальвини...

— Разумеется, — говорю я и говорю неправду, потому что я так замучился с этим Сашкой Потемкиным, что уже, наверное, целый месяц не читал никаких газет.

— Мой гениальный друг синьор Томазо Сальвини приедет в Одессу ровно через неделю, — продолжает Кастаки. — Он будет играть в цирке знаменитую пьесу английского драматурга Шекспира "Юлий Цезарь". Из римской жизни.

Я киваю головой, на всякий случай, но ничего не говорю, жду.

— Так вот, господин Раевский, нам нужны римляне! Нам нужна толпа, нам нужны сенаторы — ну, одним словом, римляне! И побольше!

Я глотаю слюну и спрашиваю:

— Сколько?

— Тысяча человек, по крайней мере.

— Молодые или постарше?

— Молодые, — говорит Кастаки, смотрит на дамочку в пенюаре и грустно улыбается. — Из молодых, в крайнем случае, можно сделать старых. Наоборот, к сожалению, получается много хуже.

— Когда вам нужны, господин Кастаки, эти тысяча человек? — спрашиваю я.

— Завтра.

— Хорошо! — говорю я и встаю.

Кастаки и дамочка в пенюаре начинают смеяться. Они смеются, а я стою, жду.

— Неужели, — говорит Кастаки, — вы действительно уверены, господин Раевский, что за один день вы сумеете набрать тысячу человек статистов?

Я наклоняю голову.

— Да, — говорю, — я уверен.

— Садитесь, — говорит Кастаки и снова показывает мне рукою на кресло.

Я сажусь.

— Вы нам нравитесь, господин Раевский! — говорит Кастаки, спускает ноги с дивана и наливает из большого фарфорового кофейника две чашки кофе — себе и своей дамочке. Мне он, между прочим, кофе не наливает, заметьте. Но дело, конечно, не в кофе, а дело в том, что он говорит. А говорит он следующее:

— Когда мы с Таточкой приехали в Одессу — а приехали мы два дня назад — мы просили знакомых, чтоб нам порекомендовали молодого, энергичного человека. Нам порекомендовали вас, господин Раевский. И теперь я вижу, что порекомендовали не зря. Но меня удивляет, господин Раевский, что вы не спрашиваете — какие условия. Или вас условия не интересуют?

Я говорю:

— Интересуют.

Кастаки со своей Таточкой снова начинают смеяться. Они смеются долго, а я сижу и молчу, как таракан. Наконец, отсмеявшись, Кастаки вытаскивает из кармана халата платок с

монограммой, вытирает глаза, оглушительно сморкается и говорит:

— Условия, господин Раевский, такие — каждый римлянин за участие в репетиции получает полтинник, а за участие в спектакле — рубль. Вы получаете за репетицию десять рублей, а за спектакль двадцать. С вами расплачиваюсь я, а со статистами расплачивается вы. Если завтра, как вы обещаете, будет тысяча человек — они должны явиться к цирку в десять часов утра — тогда, господин Раевский, я выписываю вам чек, вы получаете в банке деньги и сами, лично, во время всех гастролей моего гениального друга Томазо Сальвини, рассчитываетесь со статистами. Вас устраивают такие условия, господин Раевский?

...Я вышел из "Лондонской", друзья мои, я не вышел — я вылетел, как на крыльях. У меня дрожали ноги, и лицо было мокрое, как будто я купался. Причем лицо у меня горело, а ноги были холодные. Я сел в пролетку и приказал извозчику:

— В Университет!

Но по дороге я еще заехал в цирк, выяснил кое-какие подробности, а уже оттуда — в университет. Я оставил извозчика ждать — если пошли такие дела, то кто считает копейки — а сам подошел к швейцару, приподнял шляпу и спрашиваю:

— Господин швейцар, вы не могли бы мне сказать — в какой аудитории читает сегодня лекцию господин профессор Квачевский?!

Между прочим, об этом профессоре Квачевском я не имел ни малейшего понятия — кто он и что он, и какие лекции он читает. Просто я слышал — об этом говорила вся Одесса — что его хотели уволить из университета, студенты устроили целый трам-тарарам, чтоб его оставили. Ну, и я рассудил, если студенты не хотят, чтоб профессора увольняли, то на лекции его должно быть больше всего народу. И я оказался прав. Профессор Квачевский читал свою лекцию не где-нибудь, а в актовом зале. И читал он — это же надо, друзья мои, чтоб было такое совпадение — теорию римского права! И народу было видимо-невидимо, яблоку упасть было негде! Ну-с, господин профессор Квачевский заканчивает свою лекцию, ему бурно аплодируют — тут высказываю я,

я поднимаюсь на кафедру, я, кажется, слегка даже отталкиваю в сторону господина профессора, и я кричу — у меня ни до, ни после-никогда не было такого голоса, как в этот день.

— Господа студенты! — кричу я. — Через неделю в Одессе начинаются гастроли величайшего трагика синьора Томазо Сальвини! Кто хочет увидеть спектакли с его участием — поднимите руки!

Ну, разумеется, все хотят, все поднимают руки.

— Замечательно! — говорю я. — Но, между прочим, билетов в кассе уже нет! А те, которые были, так самые паршивенькие стоили не меньше чем пять рублей!.. Вы бы сидели, за эти сумасшедшие деньги, на самой верхотуре, и великий трагик казался бы вам величиной с муху... Положение, господа студенты, прямо-таки безвыходное!

Я делаю паузу, а в зале начинается шум.

— Тихо! — снова кричу я, и зал замолкает. — Есть люди, у которых при безвыходном положении опускаются руки. А есть люди, которые стучатся во все двери, и одна из этих дверей обязательно оказывается открытой... Вы имеете, господа студенты, такую возможность — видеть синьора Томазо Сальвини не с какой-нибудь там галерки за пять рублей, а совсем рядом, ближе, чем видите сейчас меня. И не просто видеть. Вы будете играть вместе с ним в одном спектакле из римской жизни. И это вам обойдется сущие пустяки. Полтинник за участие в репетициях и один рубль — за спектакль! Так что, господа студенты, кто имеет на это желание — прошу опять поднять руки!

И все хотят, все поднимают руки, все кричат:

— Прекрасно!

— Спасибо!

— А кому платить деньги?

— Деньги будете платить мне! — говорю я. — Но, прежде всего, завтра, в десять часов утра, вы должны явиться к зданию цирка. Вам ясно, господа студенты!

И тут я чувствую, что кто-то дергает меня за рукав пиджака. Я оборачиваюсь и вижу, что это господин профессор Квачевский.

— Скажите, — негромко говорит господин профессор, — а я тоже могу принять участие?

— Можете! — говорю я. — И даже, господин профессор, поскольку вы такой знаменитый, то вы можете принимать участие и в репетициях, и в спектаклях совершенно бесплатно!

Ну-с, на следующее утро, ровно в десять часов утра, у цирка была толпа, приблизительно, в три тысячи человек. Тысяча пришла — это были те, которых я пригласил, а еще две тысячи явились, чтобы выяснить, что происходит и для чего пришла эта первая тысяча.

В пятнадцать минут одиннадцатого подъехал на извозчике господин Кастаки со своей Таточкой, увидел эту толпу, сделал удивленное лицо, приподнял котелок и помахал мне рукой. Я подошел.

— Да, месье Раевский, — говорит Кастаки, — теперь я вижу, что с вами, действительно, можно иметь дело!

Он достает из кармана бумажник, вытаскивает уже подписанный чек, протягивает его мне.

— Возьмите, месье Раевский! Но только — вы, я надеюсь, понимаете — деньги есть деньги. Деньги любят счет. Вы должны составить ведомость с именами всех участников, и вы будете брать с них расписки!..

Конечно, я составил ведомость и, конечно, я брал расписки. В этих расписках значилось — такой-то, за участие в репетиции, пятьдесят копеек. Или — такой-то, за участие в спектакле, один рубль. Заплатил или получил — это уже никого не касалось, это уже было мое сугубо личное дело!

Если говорить откровенно, то как играл великий трагик синьор Томазо Сальвини, я не видел. Уверяют, что он играл замечательно. Очень может быть. Даже наверное. Во всяком случае, когда он закончил гастроли и уехал, так я купил дом. Двухэтажный дом на улице Бабеля — там теперь помещается ОВИР... Между прочим, в тысяча девятьсот семнадцатом году этот дом выиграл у меня в карты Миша Лапидус. Он был тогда еще совсем мальчик, но имел руки — так это что-то особенное. Вы понимаете, что он и передергивает, и делает накладки — но заметить вы этого не могли... Он хотел перестраивать дом, но не успел — началось то, что мы с вами каждый

год отмечаем седьмого ноября... И Мишу Лapidуса едва не расстреляли, как буржуя и домовладельца... А синьору Томазо Сальвини — в городе, где он родился,— говорят, поставили памятник. К сожалению, мне не довелось побывать в Италии, а то бы я непременно положил к подножию этого памятника букет цветов!..

...— Ай, золотая голова! — вздохнул Валя-часовщик, с обожанием поглядел на месье Раевского, выпил залпом бокал коньяка, пожевал лимон и повторил: — Золотая голова!

Он обернулся к Таратуте:

— Что я вам говорил, Семен Янович?! Это же не человек — это живой исторический музей!..

(Окончание в следующем номере)

БИБЛИОТЕКА "ВРЕМЯ И МЫ"

Идя навстречу многочисленным просьбам читателей, издательством скомплектованы три серии *"БИБЛИОТЕКИ ВРЕМЯ И МЫ"*, которые продаются с большой скидкой.

1. КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНАЯ СЕРИЯ — включает все номера журналов, выпущенных за последний год (с 7 по 20 номер), а так же следующие книги: Борис Хазанов *"Запах звезд"*, Виктор Перельман *"Покинутая Россия"* (2 книги "Иллюзии", "Крушение"), Зеев Шиф *"Землетрясение в октябре"* — приложение к серии (Книга о Войне Судного дня 285 стр., 40 фотографий, изд-во "Карив"). Всего 18 книг. Стоимость при заказе в редакции 298 лир, за границей — 35 долларов, включая доставку. Возможна оплата тремя чеками. Стоимость в магазине — 320 лир.

2. КНИЖНАЯ СЕРИЯ — Борис Хазанов *"Запах звезд"*, Виктор Перельман *"Покинутая Россия"* ("Иллюзии", "Крушение"), Зеев Шиф *"Землетрясение в октябре"* — приложение к серии, изд-во "Карив", всего 4 книги, стоимость 98 лир, за границей — 15 долларов, включая доставку. Стоимость в магазине — 120 лир.

3. ИЗБРАННАЯ СЕРИЯ — включает лучшие произведения, опубликованные за последний год в журнале "Время и мы": Зиновий Зиник *"Извещение"* (журнал № 8), Борис Хазанов *"Страх"*, *"Частная и общественная жизнь начальника станции"* (журнал № 9), А. Б. Иошуа *"В начале лета — 1975"* (№ 10), *"Сладкая жизнь Никиты Хряща"* (№ 11), Борис Ямпольский *"Большая эпоха"* (№ 13), Борис Бахтин *"Ванька Каин"* (№ 14), Олдос Хаксли *"Счастливый новый мир"* (№ 16, 17, 18) — всего 9 журналов, стоимостью 150 лир, за границей — 17 долларов. Стоимость в магазине — 170 лир.

Заказы с указанием серии присылать по адресу: ул. Нахмаи 62/9 Тель-Авив. К заказу должен быть приложен чек на соответствующую сумму.

"Что именно влекло человека — не имело значения. Раз его влекло к чему-то, одно это почиталось греховным. Все естественное было дурно".

(Бокль. "История цивилизации").

Сергей ДОВЛАТОВ

НЕВИДИМАЯ КНИГА

Посвящается автору
"Театрального романа"

ПРЕДИСЛОВИЕ

Третья книга романа окончена. Ее прочитали мои товарищи, люди, которым я доверяю. Я убедился в том, что потерпел неудачу. Рукопись явно скомпрометирована захолустной модернистской игрой.

Пытаясь спасти гибнущую вещь, я решил написать эпилог. Теперь уже от собственного лица. Без ухищрений. Все, как было. Пушкин говорил, что жизнь кошмарнее любого вымысла!

ВТОРОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

С тревожным чувством берусь я за перо. Кого интересуют признания литературного неудачника с тринадцатилетним стажем? Что поучительного в его исповеди?

Да и жизнь моя лишена внешнего трагизма. Я абсолютно здоров. У меня есть любящая родня. Мне всегда готовы предоставить работу, которая обеспечит нормальное биологическое существование.

Copyright С. Довлатова. Печатается с разрешения издательства Ardis/rit.

Мало того, я обладаю преимуществами. Мне без труда удастся располагать к себе людей. На моей совести десятки поступков, уголовно наказуемых и оставшихся безнаказанными.

Я два раза был женат и оба раза счастливо.

Наконец, у меня есть собака. А это уже излишество.

Так почему же я ощущаю себя на грани физической катастрофы? Откуда у меня чувство безнадежной жизненной непригодности? В чем причина моей тоски?

Я хочу в этом разобраться. Постоянно думаю об этом. Мечтаю и надеюсь вызвать призрак счастья...

Мне жаль, что прозвучало это слово. Ведь представления, которые оно рождает, безграничны до нуля.

Я знаю человека, серьезно утверждающего, что он будет абсолютно счастлив, если жилконтора заменит ему фановую трубу...

Суетное чувство тревожит меня. Ага, подумают, возомнил себя непризнанным гением!

Да нет же! В том-то и ужас, что нет! Я выслушал сотни, тысячи отзывов о моих рассказах. И никогда, ни в одной, самой убогой, самой фантастической петербургской компании меня не объявляли гением. Даже, когда объявляли таковыми Галецкого и Холоденко.

(Поясню. Галецкий — автор романа, представляющего собой девять листов засвеченной фотобумаги. Главное же действующее лицо наиболее удачного романа Холоденко — презерватив).

Тринадцать лет назад меня убедили в том, что я не без оснований взялся за перо. Затем я написал роман, семь повестей и четырехста коротких вещей. (Наощупь — побольше, чем Гоголь!).

Я убежден, что мы с Гоголем обладаем равными авторскими правами. (Обязанности разные). Во всяком случае, одним неотъемлемым правом. Правом — обнаруживать написанное. То есть, правом бессмертия или неудачи.

За что же моя рядовая, честная, единственная склонность подавляется всеми лицами, органами, институтами величайшего в мире государства?!

Я хочу в этом разобраться.

Не буду утруждать себя композицией. Сумбурно, длинно и невнятно попытаюсь изложить свою "творческую" автобиографию. Это будут приключения моих рукописей. Портреты знакомых... Документы...

Как же назвать все это? "Досье"? "Записки одного литератора"? "Сочинение на вольную тему"?

Разве это важно? Книга-то невидимая...

За окном — ленинградские крыши, антенны, утреннее бледное небо. Катя делает уроки. Фокстерьер Глафира, похожая на березовую чурочку, сидит у ее ног и думает обо мне.

А передо мной лист бумаги. И я пересекаю эту белую заснеженную равнину — один.

Лист бумаги — счастье и проклятие! Лист бумаги — наказание мое...

Предисловие явно затянулось. Начнем. Начнем хотя бы с этого.

ПЕРВЫЙ КРИТИК

Еще до революции в качестве придворного венеролога Агния Францевна Мау была лично знакома с членами императорской семьи.

Минуло шестьдесят лет.

Навсегда сохранила Агния Францевна горделивый дворцовый апломб и прямоту клинициста. Это она сказала нашему квартуполномоченному полковнику Тихомирову:

— Вы — ГЕ, мон колонель, не обессудьте! — после того, как он чуть не раздавил ее болонку.

Тихомиров жил напротив, загнанный в нашу отвратительную коммуналку своим партийным бескорыстием. Он добивался власти и ненавидел Мау за ее аристократическое происхождение. (У самого Тихомирова происхождения не было вообще. Его породили директивы).

— Ведьма! — грохотал он, — какать в одном поле не сяду!

Старуха поднимала голову так резко, что взлетал ее крошечный золотой медальон.

— Вы думаете, сударь, — говорила Мау, — что какать рядом с вами такая уж заманчивая перспектива для меня?!

Тусклые перья на ее шляпе гневно вздрагивали...

Для Тихомирова я был чересчур изыскан, для Мау — безнадёжно вульгарен.

Против Агнии Францевны у меня было сильное оружие — вежливость. Тихомирова вежливость настораживала. Он знал, что вежливость маскирует пороки.

И вот однажды я беседовал по телефону. Беседа эта страшно раздражала Тихомирова чрезмерным умственным изобилием. Раз десять он проследовал узкой коммунальной трассой. Ходил в уборную. Заваривал чай. До полярного сияния начистил лишние индивидуальности ботинки. Даже зачем-то возил свой мопед на кухню и обратно.

А я все говорил. Я говорил, что Олдингтон не тянет. Что Достоевский сродни постимпрессионизму. Что апперцепция у Бальзака — вторична. Что Люда Федосеевко сделала аборт. Что Анджею Вайде не хватает космополитической нотки...

И Тихомиров не выдержал.

Умышленно задев меня пологим животом, он рывкнул:

— Писатель! Смотрите-ка — писатель! Да это же писатель! Писатель от слова... "худо"!

Знал бы я тогда, что эта бессмысленная, грамматически несообразная формула рехнувшегося от умственной перегрузки квартуполномоченного на долгие годы ознаменует мою жизнь.

Писатель от слова "худо"!..

Кажется, я допустил ошибку. Нужна какая-то последовательность. Например, хронологическая.

Первый литературный импульс — вот, с чего я начну.

Это было в октябре 1941 года. Уфа, эвакуация, мне три недели.

Когда-то я записал этот случай. Рассказ, не рассказ...

СУДЬБА

Мать работала в драматическом театре. Отец был режиссером и директором этого театра. Война не разлучила их. Они расстались позже, в мирное время — уже отменили карточки...

Недели через три после того, как я родился, мать везла меня в коляске на бульвар. И тут к ней подошел незнакомый человек.

Мать говорила, что у него было некрасивое привлекательное лицо. Совсем простое, как, например, — береза, телега или колодец. Я думаю, что еще и значительное, раз мама помнила его всю жизнь. Иначе что же привлекательного в некрасивом лице?

Штатский незнакомец казался вполне здоровым.

— Извините меня, — решительно и смущенно произнес он, — но мне бы хотелось ущипнуть этого мальчишку.

Мама возмутилась.

— Новости, — сказала она, — так вы и меня захотите ущипнуть?!

— Нет, — успокоил ее незнакомец, — но еще секунду назад мне трудно было бы ответить на этот вопрос.

— Идет война, — заметила мама уже не так резко, — настоящие мужчины гибнут на передовой, а некоторые гуляют в это время по бульвару и задают странные вопросы.

(Разговаривая с человеком, женщина может использовать округлое "вы", прямое "ты" и гадко изогнутое — "некоторые").

— Война идет в душе каждого из нас, — печально молвил незнакомец, — прощайте.

Затем он добавил:

— Вы ранили мое сердце...

Прошло 32 года. И вот однажды я читаю статью об Андрее Платонове. И выясняется. Что осенью сорок первого года. У него. В Уфе. Пропал чемодан с рукописями.

Мужчина, который хотел ущипнуть меня, был Андреем Платоновым.

Я поведал о нашей встрече друзьям, но унылые люди ска-

зали, что это мог быть и не Андрей Платонов, а какой-нибудь Платон Андреев, да и вообще, мало ли кто...

Какая чепуха! В описанной истории даже я — фигура несомненная, так что же говорить о Платонове?

Мои друзья принадлежат к числу людей, которым хочется, чтобы вообще ничего не было...

Я часто думаю про вора, который украл чемодан. Он, вероятно, ликовал, завидев оставленный без надзора чемодан Платонова. Он надеялся, что в нем лежит фляга спирта, шевиотовый костюм и большой кусок говядины. То, что вор обнаружил, было крепче спирта, ценнее шевиотового костюма и дороже всей говядины нашей планеты, но вор этого не знал. Видно, он родился хроническим неудачником. Хотел разбогатеть, а стал владельцем пустого чемодана.

Что может быть плачевнее?

Вор, должно быть, швырнул рукопись в канаву, где она и сгинула. Если рукопись валяется в канаве, или ящике стола, ее не отличишь от связки прошлогодних газет.

Я не думаю, чтобы Андрей Платонов очень сожалел об утраченной рукописи, ибо писатели в этих случаях говорят так:

"Даже хорошо, что у меня пропали старые рукописи, ведь они были так несовершенны. Теперь я вынужден переписать рассказы заново, и они станут лучше, намного лучше..."

Было ли все так на самом деле? Да разве это важно? Было, не было... Думаю, что обойдемся без нотариуса. Все во мне требует этой встречи. Не зря же я с детства мечтал о литературе. И вот пытаюсь найти слова...

НАЧАЛО

Я вынужден сообщать какие-то детали моей реальной биографии. Иначе многое останется неясным.

Черные дворы... Толстый застенчивый мальчик... Бедность... Мать самокритично бросила театр и работает корректором... Школа... Дружба с Андрюшей Черкасовым, за которым приезжает "форд"... Андрюша шалит, мне поручено

влиять на него. А то меня не возьмут на дачу. Я становлюсь маленьким гувернером. Я умнее, и больше читал, знаю, как угодить взрослым...

Детское воровство... Зарождающаяся тяга к плебсу... Мечты о силе и бесстрашии... Похороны дохлой кошки за сараями... Моя надгробная речь, вызвавшая рыдания Жанки, дочери водопроводчика... Я умею говорить, рассказывать...

Тройки... Равнодушие к точным наукам... Совместное обучение... Девочки... Алла Горшкова... Мой длинный язык... Неуклюжие эпиграммы... Джаз...

В 1952 году я отсылаю в "Ленинские искры" четыре стихотворения. Одно, конечно, про Сталина, три — про животных... Литературный кружок... Безыдейность... Вершина моего поэтического творчества:

Три прачки — трепачки,
Три тетки — трещотки,
Купили три щетки,
И мыла три пачки!

Пишу рассказы. Они публикуются в "Ленинских искрах". Напоминают худшие вещи средних профессионалов...

Трагическая потеря невинности... Второй поэтический спазм. Тенденция к лиризму:

От всех невзгод мне остается ИМЯ,
От раны — вздох и угли от костра,
И мне уж не придется до утра
Бродить с дождем под окнами твоими.
Но будет долго каркать воронье,
Обманутое сложностью мгновенной...
Я шлю тебе безрадостно и верно,
Последнее молчание мое!

Что это за воронье, обманутое "мгновенной сложностью", ума не приложу. Однако мне хлопали. И вопросов не задавали. Тогда я написал абсолютно бессмысленное четверостишие:

Фурье, окончивший Сорбонну,
Изъяном язв не дорожа.
Казнен.
Так груз из Лиссабона,
Казнит незримая межа!

И снова хлопали.

Поэзия разочаровала меня. Разочаровала своим горделивым правом на внеаналитические формы.

Через двадцать лет я кое-что понял. У Мандельштама аналитические обороты глубоко содержательны:

Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей,
Под морозную пыль образуемых вновь падежей...

С поэзией кончено навсегда. С невинностью тоже.

Аттестат зрелости... Производственный стаж... Типография... Сигареты "Памир"... Вино и мужские разговоры... Крепнущая тяга к плебсу (то есть, буквально ни одного интеллигентного приятеля).

Университет... Филфак... Бесконечные прогулы... Студенческие литературные упражнения иронического толка... Два общепризнанных шедевра:

— Что вы делаете, Хайм?
Хайм ответил:
— Отдыхаем!

И еще:

Хоть она и неказиста,
Однако ходит на танцы во Дворец имени Козицкого.

Второе стихотворение привлекало изысканным ритмом...

Бесконечные переэкзаменовки... Несчастливая любовь, окончившаяся женитьбой. (Детали изложены в первой части романа)... Знакомство с молодыми ленинградскими поэтами — Рейном, Найманом, Бродским... Наиболее популярный человек той эпохи — Сергей Вольф. Он, как говорится, начал первый...

ДЕВУШКА РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

С Вольфом я познакомился в ресторане. Он пил водку, голову держал набок. Как дятел. Я позвал его в фойе и невнятно объяснился. Я хотел, чтобы Вольф прочитал мои рассказы.

Вольф был нетерпелив. Я лишь позднее сообразил — водка нагревается.

— Любимые писатели? — спросил Вольф.

Я назвал Белля, Хемингуэя, русских классиков.

— Жаль, — произнес Вольф задумчиво, — жаль. Очень жаль. Попрощался и ушел.

Я был несколько растерян. Женя Рейн потом говорил мне:

— Назвали бы Андрея Платонова, он бы вас угостил. Сейчас они все читают Платонова.

— А вы читали?

— Да, — ответил Рейн, — я восхищался Платоновым еще в тысяча девятьсот тридцать шестом году.

И, спохватившись, добавил:

— Верьте мне наполовину...

Платонова я очень люблю. И Вольф мне по-прежнему нравится. В моих записных книжках с претенциозным названием "Соло на ундервуде" есть о нем две истории:

Вольф с Длуголенским отправились ловить рыбу. Вольф поймал грандиозного судака. Отдал его хозяйке и говорит: "Поджарьте этого судака и будем вместе ужинать". Так и сделали. Поужинали, выпили. Вольф с Длуголенским ушли в свой чулан. Хмурый Вольф сказал Длуголенскому: "У тебя есть бумага и карандашик?" "Есть". "Давай сюда".

Вольф порисовал, порисовал и говорит:

— Вот суки! Они дали не всего судака! Смотри. Этот подъемник был. И этот спуск был. А перевальчика не было. Пробел в траектории судака!

И еще:

Я спросил Вольфа:

— Ты где живешь? Какая улица?

— Подъяческая.

— Большая Подъяческая?

Да, еще такая запись:

Меня познакомили с Вольфом одиннадцать лет назад. Я не забуду этот день. Мы сидели в ресторане. На нем был грубый свитер и джинсы. А в руке — дрель (Вольф — приверженец зимней рыбалки).

Вольф замечательный писатель и незаурядный человек.

Грустно, что я не знаю его жену и дочь.

Вольф тоже не знаком с моей семьей.

Мне не известны сокровенные помыслы Вольфа.

Да и он не в курсе моих идей.

Я не прочел ни одной его строчки.

Да и Вольф не читал моих произведений.

Точнее, они ему не понравились.

Как и мне его рассказы.

Я не дружу с Вольфом.

ДАЛЬШЕ

1960 год. Новая творческая волна. Рассказы, пошлые до изумления. Тема — одиночество. Неизменный антураж — черинка. Выпирающие ребра подтекста. Хемингуэй, как идеал литературный и человеческий.

Недолгие занятия боксом... Развод... Безделье... Повестка из военкомата...

Стоп! Я хотел уже перейти к решающему этапу своей литературной биографии. И вот перечитал написанное. Что-то важное скомкано, забыто. Какой-то упущенный факт тормозит мои автобиографические дроги.

Я уже говорил, что познакомился с Бродским, и он, вытеснив Хемингуэя, навсегда стал моим литературным кумиром.

Нас познакомила моя жена Ася. До этого она не раз говорила:

— Есть люди, перед которыми стоят великие цели!

Так я узнал Бродского, Наймана, Рейна. Подробнее я расскажу о них в дальнейшем. То есть, в эпизодах послеармейских лет, когда мы несколько сблизились. До этого я не умел по заслугам оценить их творческого и личного своеобразия. Более того, мое отношение к этой группе поэтов имело налет скептицизма. Я жил интересами спорта, футбола. Нра-

вился девушкам. Литература пока не стала единственным мучительным занятием для меня. Я уважал Евтушенко.

Почему же мне так важно упомянуть об этой группе? Я уже тогда знал о существовании неофициальной литературы. О существовании так называемой второй литературной действительности. Той самой действительности, которая несколько лет спустя превратится для меня в единственную реальность.

Итак, повестка из военкомата. За три месяца до этого я покинул университет.

В дальнейшем мне случалось говорить о причинах ухода весьма туманно. Загадочно касаться неких политических мотивов.

Все было проще. Я не мог запомнить ни единого немецкого слова, кроме имен вождей мирового пролетариата. И меня выгнали. Я же намекал, что страдаю за правду.

Так и оказался в войсках конвойной охраны. Видно, мне суждено было побывать в аду...

Я не буду рассказывать, что такое ВОХРА. Что такое нынешний Устьвымлаг. Наиболее драматические ситуации отражены в моей рукописи "Зона" (1966 год). По ней, я думаю, можно судить о том, как протекали эти годы. Два экземпляра подборки "Зона" у меня сохранились. Еще один благополучно переправлен в Нью-Йорк. И последний, четвертый, находится в Эстонском КГБ. (Но об этом в свое время). В качестве "Приложения № 1" эта рукопись еще будет здесь фигурировать. С ней может ознакомиться любой.

"Зона" — мемуары надзирателя конвойной охраны, цикл тюремных рассказов.

Как видите, начал я с бытописания изнанки жизни. Дебют вполне естественный (Горький, Хемингуэй). Экзотичность пережитого материала — важный литературный стимул. Хотя наиболее чудовищные, эпатазирующие подробности лагерной жизни я, как говорится, опустил. Пользоваться ими было бы спекулятивно. То есть, эффект заключался бы не в художественной ткани произведения, а в самом материале. Я игнорировал крайности, пытаюсь держаться в обыденных эстетических рамках.

В чем основная мысль подборки "Зона"?

Мировая "каторжная" литература знает две системы идейных представлений. Два аспекта.

1. Каторжник — жертва, герой, благородная многострадальная фигура. Соответственно распределяются моральные ориентиры. То есть, представители режима — сила негативная и отрицательная.

2. Каторжник — монстр, злодей. Соответственно — все наоборот. Каратель, полицейский, сыщик, милиционер — фигуры благородные и героические.

Я же с удивлением обнаружил нечто третье. Полицейские и воры чрезвычайно напоминают друг друга. Заключенные особого режима и лагерные надзиратели безумно похожи. Язык, образ мыслей, фольклор, эстетические каноны, нравственные оценки. Таков результат обоюдного влияния. По обе стороны колючей проволоки — единый и жестокий мир. Это я и попытался выразить.

И еще одну существенную черту усматриваю я в моем лагерном наследии. Сравнительно новый по отношению к мировой литературе штрих.

Каторга неизменно изображалась с позиций жертвы. Каторга же, увы, и пополняла ряды литераторов. Лагерная охрана не породила видных мастеров слова.

Представьте себе, что "Мертвый дом" написал Осьмиглазый. Майор Осьмиглазый, а не каторжанин Федор Достоевский...

Короче, осенью 65 года я появился в Ленинграде. В тощем рюкзаке лежала "Зона". Перспективы были самые неясные.

Начинался важнейший этап моей жизни.

Общаться с бывшими приятелями мне стало трудно. Возник какой-то психологический барьер. Друзья кончали университет, серьезно занимались филологией. Подхваченные теплым ветром начала шестидесятых годов, они интеллектуально расцвели. А я безнадежно отстал. Я напоминал фронтовика, который вернулся и обнаружил, что друзья его в тылу преуспели. Мои ордена позвякивали, как шутовские бубенцы.

Я побывал на студенческих вечеринках. Рассказывал кошмарные лагерные истории. Меня деликатно слушали

и возвращались к актуальным филологическим темам: "Кафка, Борхерт, Платонов..."

Все это мне казалось удивительно пресным. Я был одержим героическими лагерными воспоминаниями. Я произносил тосты в честь умерщвленных надзирателей и конвоиров. Я рассказывал о таких ужасах, которые в своей чрезмерности были лишены смысла. Я всем надоел.

Мне понятно, за что высмеивал Тургенев недавнего каторжанина Достоевского.

К этому времени моя жена полюбила знаменитого столичного литератора. Я надулся и со всеми перессорился. Я твердил:

"Одинокий путник уходит дальше всех".

Надо было искать работу. Мне казалось тогда, что журналистика сродни литературе. И я поступил в заводскую многотиражку. Газетная работа и поныне является для меня источником существования. Сейчас газета мне опротивела, но в то время я был полон энтузиазма.

Много говорят о том, что журналистика для литератора занятие пагубное. Я этого не ощутил. В этих случаях действуют различные участки головного мозга. Когда я "творю" для газеты, у меня даже почерк меняется.

Итак, я поступил в заводскую многотиражку. Одновременно продолжая сочинять рассказы. Их становилось все больше. Они не умещались в толстой папке за сорок копеек. Тогда я еще не вполне серьезно относился к этому.

"Соло на ундервуде":

Брат однажды спросил меня:

— Ты пишешь роман?

— Пишу, — ответил я.

— И я пишу, — сказал мой брат, — махнем не глядя?..

Я должен был кому-то показать свои рукописи. Но кому? Приятели с филфака не внушали доверия. Знакомых литераторов у меня не было. И вот однажды...

ПОТОМОК Д'АРТАНЬЯНА

По бульвару, вдоль желтых скамеек, мимо гипсовых урн, с изяществом юного князя шагает небольшого роста человек в светлых континентальных джинсах. Его зовут Анатолий Генрихович Найман. Он — интеллектуальный ковбой. Успева-ет нажать спусковой крючок раньше любого оппонента. Его трассирующие шутки — ядовиты.

"Соло на ундервуде":

Женщина в трамвае — Найману:

— Ах, не прикасайтесь ко мне!

— Ничего, я вымою руки!

Кроме того, Найман пишет замечательные стихи, он друг Ахматовой и воспитатель Бродского.

Я его боюсь.

Мы встретились на улице Правды. Найман оглядел меня с веселым задором. Еще бы, подстрелить такую крупную дичь! Скоро Найман убедится в том, что я не хищник. Морж на суше. Чересчур большая мишень. Стрелять в меня не интересно. А сейчас...

— Мы, кажется, знакомы? Демобилизовались? Очень хорошо... Что-то пишете? Прочитайте строчки три... Ах, рассказы? Занесите. Я живу близко.

Найман читает мои рассказы. Звонит. Мы гуляем возле Пушкинского театра.

— Через год вы станете "прогрессивным молодым автором". Если вас это устраивает...

"Соло на ундервуде":

— Толя, — зову я Наймана, — пойдете в гости к Лева Друскину.

— Не пойду. Какой-то он советский.

— То есть, как это советский? Вы ошибаетесь!

— Ну, антисоветский. Какая разница?..

Найман спешит. Я провожаю его. Мне хочется без конца говорить о рассказах. Печататься я не желаю. Это не важно.

Когда-нибудь потом... Лишь бы написать что-то стоящее. Найман рассеянно кивает. Он равнодушен даже к созвездию левых москвичей. Ему известны литературные тайны прошлого и будущего. Современная литература — вся — невзрачный, захламленный тоннель между прошлым и будущим.

Мы оказываемся в районе новостроек. Пытаюсь ему угодить:

— Я думаю, Тютчев не согласился бы жить в этом унылом районе!

— Тютчев не согласился бы жить в этом... году!..

Мы видимся довольно часто. Я приношу новые рассказы. Толя их снисходительно похваливает. Он уже прочно занес меня в какую-то не очень высокую категорию. Так же снисходительна ко мне Эра Найман. Пройдет десять лет, и Эра напишет стихи с грамматическими ошибками в библейских именах ("Вафлием"). Пока что она твердит:

— Сережа, у вас нет Бога! Вы изувер!

Я не знаю, кто я такой. Пишу рассказы... Совесть есть, это точно. Я ощущаю ее болезненное наличие. Мне грустно, что наша планета когда-нибудь остынет...

Я завидую Найману. Его остроумию, уверенности, злости.

"Соло на ундервуде":

Найману звонит приятельница:

— Толя! Приходи обедать. И знаешь, возьми по дороге сардин, таких импортных, марокканских и варенья какого-нибудь. Если тебя не беспокоят эти расходы.

— Они меня совершенно не беспокоят, потому что я не куплю ни того, ни другого...

Терплю от Наймана бесчисленные издевательства. Что это? Дарвинизм какой-то... Естественный отбор. К чему же он ведет? Птеродактиль съедает динозавра и в результате нескончаемых метаморфоз становится... кем? Инкубаторским цыпленком.

Дарвинизм — это фантастика! Обезьяна всегда была обезьяной. Труд, якобы, сделал из нее человека... Ишак трудится больше, но так и остался ишаком...

И все-таки я хочу нравиться Толе:

— Вы Юру Компанейца знаете?

Юра Компанеец — популярный яркий человек. Толя должен знать его. Я тоже знаю Юру Компанейца. Значит, у нас есть общие знакомые. Значит, мы равны.

"Соло на ундервуде":

— **Вы Юру Компанейца знаете?**

— **Юру Компанейца? Что-то знакомое. Имя Юра мне где-то встречалось. Определенно встречалось. Фамилию Компанеец слышу впервые...**

Приношу ему три рассказа в неделю.

— Прочел с удовольствием. Рассказы замечательные. Плохие, но замечательные. Вы становитесь прогрессивным молодым автором. На улице Воинова есть литературное объединение. Там собираются прогрессивные молодые авторы. Надо узнать... Хотите, я покажу рассказы Игорю Ефимову?

— Кто такой Игорь Ефимов?

— Прогрессивный молодой автор...

ГОРОЖАНЕ

Так мои рассказы попали к Игорю Ефимову. Ефимов их прочел, кое-что одобрил. Через него я познакомился с Борисом Вахтиным, Марамзиным и Губиным. Четверо талантливых авторов представляли литературное содружество "Горожане". Само название противопоставляло их крепнувшей деревенской литературе.

Негласным командиром содружества равных был Вахтин. Волевой, энергичный, красивый, обладающий наследственными и приобретенными литературными связями, он чрезвычайно к себе располагал. Излишняя театральность его манер вызывала порою насмешки. Однако же — насмешки тайные. Смеяться открыто не решались. Даже ядовитый Найман возражал Борису осторожно.

Потом я узнал, что Вахтину хорошо заметны его слабости,

что он то и дело иронизирует в собственный адрес — а это неопровержимый признак ума.

Как и у большинства агрессивных людей, его волевое давление обрушивалось на людей столь же агрессивных. В отношении людей непритязательных он был чрезвычайно сдержан.

Мне известно, что Вахтин совершил немало добрых поступков элементарного житейского толка. Ему постоянно досаждали чьи-то жены, которым он выхлопывал алименты, инвалиды, которые требовали финансового участия, разнообразные жертвы несправедливости и беззакония.

В качестве переводчика он был членом ССП. В качестве сына Пановой обладал значительными возможностями.

Возможно, это снобизм, но мне импонировала в нем черточка ленивого барства. Его готовность раскошелиться, в буквальном смысле — платить за всех...

Губин — человек другого склада. Выдумщик, плут, сочинитель, он начинал легко и удачливо. Но его быстро раскусили. Последовал длительный тяжелый неуспех. И Губин, мне кажется, сдался. Оставил литературные попытки. Частично капитулировал. Сейчас он чиновник Ленгаза, неизменно приветливый, добрый, веселый. За всем этим ощущается драма.

Сам он утверждает, что писать не бросил. Мне хочется этому верить. И все-таки я думаю, что Губин перешел какой-то рубеж благотворного уединения. Пусть это звучит банально — литературная среда необходима.

Писатель не может бросить свое занятие. Это неизбежно привело бы к болезненному искажению его личности. Вот почему я думаю о Губине с тревогой. И с надеждой.

В моих записных книжках имеется о нем единственное упоминание.

"Соло на ундервуде":

Володя Губин — человек не светский.

— До чего же красивые жены у моих приятелей, — говорит он, — у Вахтина — красавица, у Ефимова — красавица, а у Довлатова такая красавица, что я ничего подобного даже в метро не встречал!..

Губин рассказывает о себе:

— Да, я не бываю в издательствах. Но я пишу. Пишу ночами. И достигаю таких вершин, о которых не мечтал!..

Повторяю, я хотел бы этому верить. Но мне трудно поверить в сумеречные озарения. Ночь — удивительно коварна. Во мраке так легко потерять ориентиры.

Судьба Губина — еще одно преступление наших литературных вохровцев!..

Марамзин сейчас человек известный, редактор эмигрантского журнала "Третья волна".

Когда мы познакомились, он уже был знаменитым скандалистом. Смелый, талантливый и расчетливый, Марамзин шел, я уверен, к давно намеченной цели.

Его замечательную, несколько манерную прозу украшают внезапные оазисы ясности и чистоты:

"Я свободы не прошу, мне не надо. Более того, у меня она, кажется, есть..."

Замечу, что это написано до эмиграции.

В его характере с последовательной непоследовательностью сочетались безграничная ортодоксия и широкая терпимость. Его безапелляционные жесты мешали общению. Так же, как и склонность к мордобою.

Личность Марамзина замечательно отразилась в его прозвище — "Карамзин эпохи маразма".

После одной кулачной истории я держался от него на расстоянии...

О Ефимове мне писать трудно. Игорь многое сделал, чтобы затруднить всякие разговоры о себе. Попытки рассказать о нем уводят в сторону казенной характеристики:

"...Честен, принципиален, морально устойчив. Пользуется авторитетом..."

"Соло на ундервуде":

Однажды Ефимов шел выбирать правление Союза. По-встречался с Минчковским. Обдав Игоря винными парами, тот заодно сказал:

— Идем голосовать?

Пунктуальный Ефимов уточнил:

— Идем вычеркивать друг друга!..

Я думаю, Ефимов — самый многообещающий человек в Ленинграде.

Книги и даже рукописи не отражают полностью его личности.

Я хотел было написать: "Это человек сложный..." Сложный, так не пиши. А то, знаете, в переводных романах делаются иногда беспомощные сноски:

"В оригинале — непереводаемая игра слов..."

Наверное, я мог бы вспомнить об этих людях и что-то плохое. Однако делать этого принципиально не желаю. Не хочу быть объективным. Я люблю моих товарищей.

Горожане отнеслись ко мне благосклонно. Желая вернуть литературе черты изящной словесности, они настойчиво акцентировали языковые приемы.

Борис Вахтин утверждал:

"Не пиши ты эпохами и катаклизмами, не пиши ты страстями и локомотивами, а пиши ты буквами — А, Б, В..."

Моя же литература выглядела тогда довольно странно:

"В прошлом году, будучи холодно, и не располагая вегоневых кальсон и шапки, я отморозил пальцы ног и уши головы..."

Я был единодушно принят в содружество "Горожане". Но тут сказала характерная черта моей биографии — поспевать к шапочному разбору. Стоит мне купить что-нибудь в кредит, и эту вещь уценивают. А я потом два года расплачиваюсь.

С лагерной темой на год опоздал...

В общем, пригласив меня, содружество немедленно распалось. Отделился Ефимов. Он покончил с литературными упражнениями и написал традиционный роман "Зрелища", Без него группа теряла солидность.

Многие даже не знают, что я был пятым "горожанином".

РЯДОМ С ГЕЙНЕ

Мои сочинения передавались из рук в руки. Так я узнал Битова, Майю Данини, Воскобойникова, Иванова, Глинку, Арро, Леонова... Все эти люди относились ко мне доброже-

лательно. Из литераторов старшего поколения рассказами заинтересовались Меттер, Гор, Бакинский. Последний руководил нашим литературным объединением.

"Соло на ундервуде":

— **Все мы вышли из объединения Бакинского!**

— **А мы — из гоголевской "Шинели"!..**

Гранин тоже ознакомился с рассказами. Затем пригласил меня на дачу. Мы беседовали возле кухонной плиты.

— Неплохо, — повторил Даниил Александрович, листая мою рукопись, — неплохо...

За стеной раздавались шаги.

Гранин задумался, потом сказал:

— Ведь это же не для печати.

— Может быть. Я не знаю, где писатели черпают темы. Все кругом не для печати...

— Вы преувеличиваете. Литератор должен печататься. Разумеется, не в ущерб своему таланту. Есть такая щель между совестью и подлостью. В эту щель необходимо проникнуть...

"Соло на ундервуде:

В редакцию зашел Семен Ботвинник. Долго рассказывал о том, как он познакомился с девушкой и в нужный момент у него не оказалось презерватива.

Уходя, положил стихи. Финал этих майских стихов был такой:

**"Адмиралтейская игла
Сегодня будет без чехла!"**

Как вы думаете, это подсознание?...

Я набрался храбрости и сказал:

— Мне кажется, рядом с этой щелью волчий капкан установлен.

Тягостная пауза.

Я простился, вышел и сейчас же ударился в темном кори-

доре о широкие лосиные рога. Это была вешалка, укрепленная с расчетом на человека маленького роста...

Через некоторое время я узнал, что мои рассказы будут обсуждаться на секции прозы. В ежемесячной программе работы Дома Маяковского напечатали анонс. Девять лет спустя взволнованно перелистываю голубую книжечку. Вот программа на 13.12.67 года:

13
СРЕДА

Обсуждение рассказов
СЕРГЕЯ ДОВЛАТОВА

Начало в 17 ч.

Фамилии были напечатаны одинаковым шрифтом. Полклонники Гейне собрались на втором этаже. Мои — на первом. Мои, клянусь, значительно преобладали.

Обсуждение прошло хорошо. Если о тебе говорят целый вечер, не важно, дурное или хорошее — это всегда приятно.

С резкой критикой выступил лишь один человек — Борис Иванов. Через несколько месяцев его выгнали из партии. Я тут ни при чем. Видно, он критиковал не только меня...

ПЕРВАЯ РЕЦЕНЗИЯ

Декабрьским утром 1967 года я отослал шесть рассказов в журнал "Новый мир". Откровенно говоря, я ни на что не рассчитывал. Запечатал, отослал и все.

"Новый мир" тогда был очень популярен. В нем сотрудничали лучшие московские прозаики. В нем печатался Солженицын.

"Отречемся от нового мира!" — это уже потом запели.

Я думал, что ответа вообще не последует. Меня просто не заметят.

И вот я получаю большой маркированный конверт. В нем — мои, слегка помятые, рассказы. К ним прилагается рецензия знаменитой Инны Соловьевой. И еще — короткое заключение отдела прозы.

Воспроизвожу с некоторыми сокращениями эти документы*.

"О рассказах С. Довлатова

Шесть небольших рассказов читаешь с каким-то двойным интересом. Интерес вызывает личная авторская нота, тот характер отношения к наблюдаемому, в котором преобладает стыд. Беспощадный дар наблюдательности принуждает смотрящего все замечать, смотрит же он на что-то или на кого-то близкого, в ком меньше всего хотелось бы увидеть жалкое, позорящее, вызывающее какую-то тошноту сострадания...

Вот эта нота — "личное" Довлатова, его теперешняя литературная нота, и еще "личное" в прозе молодого рассказчика — точность. С этой стороны особенно удачен рассказ — "Наши"...

Программным видится у автора демонстративный, чуть заносчивый отказ от выводов, от морали, даже тень ее — кажется — принудит автора замкнуться, ошетиниться. Впрочем, сама демонстративность авторского невмешательства, акцентированность его молчания становится формой присутствия, системой безжалостного зрения.

Хочется еще сказать о блеске стиля, о некотором щегольстве резкостью, о легкой бравате в обнаружении прямого знакомства автора с уникальным жизненным материалом, для других — невероятным и пугающим.

Но в то же время рассказы Довлатова — это прежде всего рассказы "школы", то, что автор — ленинградец, узнаешь не по обратному адресу, "молодая ленинградская школа" здесь так и впечатана в каждую строку. От нее эти бесспорные уроки советской прозы двадцатых годов, этот пристальный авторский взгляд — дескать, заметили ли вы, как я ничего не подчеркиваю, какие существенные вещи говорю мельком и невзначай...

На рассказах лежит особый, узнаваемый лоск "прозы для своих". Я далека от желания упрекать молодых ленинградцев в том, что их рассказы остаются "прозой для своих". Это беда развития школы, не имеющей доступа к читателю, лишенной такого выхода насильственно, обреченной на анаэробность, загнанной внутрь...

*За стилистику цитируемых документов автор никакой ответственности не несет. Тексты воспроизводятся дословно.

Вероятно, я повторюсь, если скажу, что лишь начав печатающуюся жизнь Довлатов освободится от излишеств литературного самоутверждения. Но к сожалению, эта моя убежденность еще не открывает перед талантливым автором журнальных страниц.

19 янв. 68 г. (И. Соловьева)"

Редакционное заключение от 21 января:

"Уважаемый товарищ Довлатов!

Из Ваших рассказов мы ничего, к сожалению, не смогли отобрать для печати. Однако как автор Вы нас заинтересовали. Хотелось бы ознакомиться с другими Вашими произведениями. Обязательно присылайте.

Желаем всего самого доброго.

Ст. редактор отдела прозы (И. Борисова)."

Рукописи были отклонены. И все-таки это письмо меня обнадежило. Ведь главное для меня — написать что-то стоящее. А здесь: "... Беспощадный дар наблюдательности... Точность... Уникальный жизненный материал..."

Через несколько лет меня перестанут интересовать соображения рецензентов. Я буду сразу же заглядывать в конец:

"Тем не менее рассказы приходится возвратить", "В силу известных Вам причин рассказы отклоняем", "Рассказы использовать, увы, не можем, хотя они и произвели на нас благоприятное впечатление"...

Мне бы хотелось привести здесь еще несколько отзывов и соответственно — редзаклучений.

НРАВИТСЯ — ВОЗВРАЩАЕМ

"Литературно-художественный
и общественно-политический
иллюстрированный журнал "МОСКВА"
"О рассказе Довлатова
"Марш одиноких"

Мужественный, суровый рассказ написал С. Довлатов. Тема, положенная в его основу, манера письма, центральная идея — все, мне кажется, соответствует этому определению — мужественный, суровый.

Герой произведения — солдат караульных войск МВД. Картины службы, быта заключенных, подробности взаимоотно-

ношений зэков и лагерной администрации — все это переплетается мозаично и, на первый взгляд, без заметной внутренней логики. Но если всмотреться, то можно отчетливо увидеть конфликт, лежащий в основе рассказа. Это столкновение героя и рецидивиста Купцова.

Герой рассказа чувствует потенциальную незаурядность Купцова и хочет спасти в нем человека. Для этого существует административная мера — труд. Герой всеми имеющимися у него средствами пытается заставить Купцова трудиться. Купцова не удается победить — в финальной сцене он хладнокровно отрубает себе руку. Не работать — его принцип, и он остается ему верен. Что это? Победа Купцова? В какой-то мере — да. Победа той нравственной извращенности, которая подчинила себе этого человека. Но безрадостный триумф Купцова — это еще не поражение героя рассказа. В ходе всего повествования он с не меньшей, чем у Купцова, настойчивостью следует личному кодексу.

Герой рассказа преодолевает страх — и в этом его торжество.

Победил не Купцов, победило то растленное и нездоровое, что определяло характер лагерной администрации.

Таково рецензируемое произведение. Написано оно профессионально зрело и с теми многочисленными деталями, которые свидетельствуют о несомненном таланте автора.

14 авг. 69 года. (Р. Киреев.) "

"Уважаемый товарищ Довлатов!

Рассказ "Марш одиноких" возвращаем. В конечном счете опубликовать его не представляется возможным.

Зав. отделом прозы (Д. Тевекелян.) "

"Литературно-художественный
и общественно-политический
иллюстрированный журнал
союза писателей Казахстана
"ПРОСТОР"

"О рассказе С. Довлатова "Марш одиноких"

Задумываясь о том, что же являет собой могучий генератор, который движет человеком в ходе его жизни, мы приближаемся к идее самоутверждения.

Утверждение себя — граница, которая отделяет нашу экзистенциальную личность от внешнего мира. Эта граница, как и

всякая другая, может быть на замке, а может содрогаться от артиллерийских перестрелок.

Агрессивная личность утверждается за счет первого встречного, пассивная — вылавливает слабые беспомощные жертвы и торжествует над ними. Мыслящий человек ищет среди других людей героев, достойных подражания.

В спокойном девятнадцатом веке место человека определялось его рождением, воспитанием, традиционными идеалами. Теперь все иначе. Каждый выбирает точку сам. Это и привело героя, упрямого молодого человека, в лагерную охрану.

Единственная реальная сила, противопоставленная герою — зона, уголовный мир. И герой направляется в зону, утверждает себя в борьбе с этой силой и, получив нож в спину, торжествует. Он добился, чего хотел, он — бог, достойный преклонения.

И вот появляется Купцов. Иной бог, антитеза, последний хранитель воровского "закона".

И Купцов побеждает. У него другая, жесткая шкала, и в безнадежности — залог его победы. Он торжествует, бросая палачам свою жену. Он торжествует, совершая во имя "закона" подвиг, масштабами близкий к античности.

Чем же кончается борьба за силу духа, за утверждение своей личности в мире? Да, в ней можно победить, но лишь ценой своей крови. Прошли красивые времена Наполеона. Там, где личность выходит из глубины самопогружения, является в мир и хочет утвердить себя в нем, она терпит поражение. Есть один выход — уйти. Или погибнуть.

Тревожные, я бы сказал — мучительные впечатления рождает повесть Довлатова. И чем сложнее их выразить, тем больше хочется непосредственно ознакомиться с этой вещью читателей журнала.

28 ноября 1969 года. (Кадыр Эргашев.) "

Редакционное заключение от 4 декабря:

"Уважаемый товарищ Довлатов!

Рассказ Ваш написан талантливо, читается с интересом. Однако по ряду частных, весьма существенных, напечатан в "Просторе" быть не может.

С уважением

зав. отделом прозы (И. Щеголихин.) "

Таких рецензий у меня накопилось около пятидесяти штук.

Шло время. Я познакомился с рядовыми журнальными чиновниками. С некоторыми даже подружился. Письма из

редакций становились все менее официальными. Теперь я получал дружеские записки. В этом были свои плюсы и минусы. С одной стороны — товарищеская доверительная информация. Оперативность. Никаких иллюзий. Но при этом — более легкая и удобная для журнала форма отказа. Вместо ответственных казенных документов — фамильный звонок по телефону:

— Здорово, старик! Должен тебя огорчить, не пойдет! Ты же знаешь, как это у нас делается... Разумеется, ничего антисоветского. Но ты ведь умный человек... Может, у тебя есть что-нибудь про завод? Про завод, говорю... А вот материться не обязательно! Я же по-товарищески спросил. В общем, звони...

Я не обижался. Результат все равно один и тот же.

Вот несколько образцов дружеских посланий.

"Литературно-художественный
и общественно-политический
молодежный журнал ЦК ВЛКСМ
"ЮНОСТЬ"

"Сергей!

Все было так, как я и предполагал! Конечно же, рукописи не проходимы. Конечно же не по литературным меркам. Всякая лагерная тема закрыта (даже если речь идет об уголовниках). Ничего трагического, мрачного. Мы будем петь и смеяться, как дети!..

Из юмористики кое-что было подписано Вороновым. Однако дальше не пошло.

Некоторые сцены я часто пересказываю друзьям. Лучше бы они прочли это на страницах "Юности", но...

Привет от Зерчанинова.

3.1.70 г. Твой (Виктор Славкин)"

"Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал "ЗВЕЗДА"

Дорогой Сергей!

С сожалением возвращаем твою повесть, одобренную рецензентом Грачевым и нами, но не одобренную выше. Впрочем, отложенное удовольствие — не потерянное удовольствие.

Верю, что такое одобрение рано или поздно состоится.
23 февраля 1970 года. Жму руку (А. Титов)

"Ежемесячный иллюстрированный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал "НЕВА"

Дорогой Сережа!

Твои рассказы нравятся отделу, но при дальнейшем ходе
стало ясно, что опубликовать их мы не имеем возможности.
Рукопись возвращаем. Ждем твоих новых работ. Звони.
2.3.70. С уважением (С. Лурье)

Друзья, работающие в журналах, искренне хотели мне
помочь. Только возможностей у них было маловато. Если уж
Борис Полевой не в состоянии опубликовать то, что ему
хочется... Я получил от него следующую записку:

"Уважаемый Сергей Донатович!

С большим интересом и увлечением прочитал Ваши рассказы.
Они насыщены соками жизни, рисуют глубокие характеры,
открывают даже какую-то новую страничку в познании молодёжи.

В общем, с рассказами поздравляю. Если не возражаете,
опубликуем их где-то в начале будущего года. Можно это
оформить и договором.

18 октября 1971 года. Ваш (Борис Полевой)"

Рассказы опубликованы не были. Если уж Полевой не
сумел...

Друзья хотели мне помочь. Но как? Поэтому я не в обиде.

"Соло на ундервуде":

Одного литератора вызвали на заседание комиссии по ра-
боте с молодыми авторами и спрашивают:

— Чем мы можем вам помочь? Что нужно сделать в первую
очередь?

— В первую очередь, — сказал литератор, — нужно отрезать
мосты, захватить телеграф, телефон и почтампт!..

Члены комиссии вздрогнули и переглянулись...

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГАРЛЕМ

Шли годы. Я уже не ограничивался службой в многотираж-
ке. Сотрудничал, как журналист, в "Авроре", "Звезде" и
"Неве". Напечатал три очерка и полтора десятка коротких
рецензий. Заказы я получал, в основном, мелкие, но и этим
чрезвычайно дорожил.

А началось все таким образом.

Как-то раз позвонил мне заведующий отделом В.Б.*

— Сережа! Что же вы не звоните? Что же вы не заходите?
Срочно пишите для нас рецензию. В вашем стиле. С вашей
остротой. С вашей наблюдательностью!

Захожу на следующий день в редакцию. В.Б. мрачно спра-
шивает:

— Что вам, собственно, надо?

— Да вот, рецензию бы написать.

— Вы что, критик?

— Нет.

— Почему же вы думаете, что рецензию может написать
каждый?

Я удивился и пошел домой.

Через три дня опять звонит:

— Сережа, дорогой! Что же вы не появляетесь?!..

И так далее.

Захожу в редакцию. Мрачный вопрос:

— Что вам угодно?..

Это повторялось семь раз. Наконец я почувствовал, что
схожу с ума. Зашел в отдел прозы к В. Спрашиваю его, что
все это значит.

— Ты когда заходишь к В.Б.? — интересуется он, — в какое
время?

— Часов в двенадцать, — говорю.

— А он тебе звонит в какое время?

— Часа в два.

— Ясно, — сказал В., — ты приходишь, когда он с похмелья
— мрачный. А звонит тебе после обеда, то есть, уже в форме.
Ты попробуй, зайди часа в два.

Я зашел в два.

— А! — закричал В.Б. — сколько лет, сколько зим! На
ловца и зверь... Пишите сейчас же рецензию! В вашем стиле...

С тех пор я сотрудничаю в этом журнале. Но раньше двух
не появляюсь...

* Фамилии не называю. Речь идет о хорошем человеке.

В общем, меня изредка печатали. Хотя и не "по специальности". На этот счет имеется такая запись:

Лурье и я — оба попали в энциклопедию. В литературную, естественно, энциклопедию. Лурье на букву ... К (библиография к Катаеву), а я на букву Р (библиография к Розену).

Какое убожество...

Разумеется, я получал не только грустные известия. О моей работе в частном порядке доброжелательно высказывались уважаемые люди. Рассказы нравились Гору, Пановой, Бакинскому. Да все, кому я их показывал, находили мои вещи стоящими. Я бережно храню короткую записку писателя Дара:

"Сергея! Толпы алчущих читателей бродят по Комарову, ищут Ваши рукописи. Я никому их не даю, а берегу для Вашего маленького заповедника, который будет построен архитектором-энтузиастом, евреем по национальности и, разумеется, антисемитом по убеждениям. Любящий Вас (Д. Дар.)"

КАК ЗАРАБОТАТЬ 1 000 (тысячу) РУБЛЕЙ

В "Неве" у меня служил близкий приятель — Лурье. Давно мне советовал:

— Напиши о заводе. Ты же работал в многотиражке.

И вот я сел, разложил свои газетные публикации, забыл о чести и написал "Интервью" — два авторских листа тошнотворной елейной халтуры.

Там действовали незадачливый журналист и передовой рабочий. Рабочий оказывается не стандартным человеком. Заведомая журналистская схема рушилась. В общем, торжество убогих антиштампов. Вывернутая наизнанку Кетлинская.

В "Неве" прочитали это дело и отвергли.

— Слишком хорошо для нас, — объяснил Лурье.

— Хуже не бывает, — говорю.

— Бывает. Редко, но бывает...

Я был озадачен. Я решил продать душу сатане, а что вышло? Вышло, что я душу сатане подарил.

Что может быть унижительнее?

Я отослал свое произведение в "Юность". Через две недели получил ответ — "берем".

Еще через три месяца вышел номер журнала. Текст я даже не стал перечитывать. А вот фотография мне понравилась — этакий неаполитанский солист!

В полученной мною анонимной записке этот контраст был любовно опозитизирован:

**"Портрет хорош, годится для кино...
Но текст — беспрецедентное гавно!"**

Ах, вот как!? Так знайте же, что это убогое, изготовленное за неделю сочинение, принесло мне тысячу рублей.

Четыреста заплатила "Юность". Затем пришла бумага из Киева. Режиссер Пивоваров хочет снять короткометражный фильм. Двести рублей за право экранизации.

Затем договор из Москвы. Радиоспектакль силами артистов МХАТ. Двести рублей.

Затем письмо из Алма-Аты. Телекомпозиция. Очередные двести рублей. Да, еще такая подробность:

"...Корреспондент в рассказе не имеет фамилии. Речь ведется от первого лица. Мы сочли закономерным дать герою Вашу фамилию. В Казахстане она прозвучит естественно. Роль Довлатова поручена артисту Владлену Генину..."

Спрашивается, образ какого из наших могучих прозаиков увековечен телепостановкой? Где Симонов, Катаев, Михалков? Я и Достоевского-то не припомню... Надеюсь, товарищ Генин воплотил меня на должном уровне...

Тысячу рублей получил я за эту галиматью.

Тысяча рублей в неделю. Разделить на семь. Сто сорок три рубля в день. При стандартном рабочем дне — восемнадцать рублей в час!

Да я честным путем за всю жизнь столько не заработаю!

Друзья советовали:

— Теперь роман о заводе пиши.

Не буду я писать заводской роман. Что у меня есть, кроме доброго имени? И этого прикажете лишиться?!..

ПЕРВАЯ АНОНИМКА

К этому времени относится первая в моей жизни серьезная анонимка. До этого я лишь однажды получил короткое безымянное извещение в манере Шекспира и Васисуалия Лоханкина:

"Болван, идеалист, холуй, романтик! Твоя жена с солдатами гуляет, а ты ей кофе варишь по утрам! Гони презренную, найдешь себе другую. И вот тебе разумный мой совет: "Не там ищи, где джерси и кримплен, ищи среди тихонь, поганых ликом! Запомни, рогоносец, навсегда — путь к добродетели лежит через уродство!..."

Мне тогда удалось графологическим способом выявить автора. Им оказалась моя жена Ася. Она полюбила другого, и мое неведение смущало ее. Оклеветав себя, Ася пыталась умерить мои чувства. Чтобы легче было ими пренебречь. В этом есть что-то благородное...

Любопытно, что я последовал ее совету и быстро нашел другую.

Ася преподает лексикологию в Стенфорде.

Вернемся к поздней анонимке. Дело в том, что у меня был рассказ. Он назывался "Я — провокатор". Речь шла о собаке, которую убили заключенные на лесоповале. Довольно грустная история (См. "Приложение № 1"). Анонимка является как бы пародийной рецензией на эту вещь:

"Мировая литература дорожит собачьими традициями. (Конан-Дойль. "Собака Баскервиль", Лопе де Вега "Собака на сене", А. Чехов. "Дама с собачкой"). Яркие воплощения этой темы можно найти и в современной литературе как у профессиональных авторов (М. Булгаков. "Собачье сердце", С. Рябинин. "Памятка собаковод"), так и у менестрелей, например: "Ах, сука, сука, повязала да всю контору Ленсовета..." ...Радостно сознавать, что полнокровная тема не исчезла. Об этом свидетельствует выдающееся произведение Довлатова.

Вкратце о содержании романа. В центре его — собака. И не просто шелудивая дворняга. Перед нами эрудированное существо, чутко реагирующее на отрицательные явления нашей действительности. Советская власть угнетающе действует на психику центрального героя. Ему не по нутру завое-

вания рабоче-крестьянской диктатуры. Он требует свободы и жевательной резинки. Кончается роман тем, что многострадальное животное подвергает себя религиозному обряду. Примыкает к неохристианскому движению. Таков сюжет. Воплощение его на столь же мощном уровне. Опираясь на глубокие литературные традиции, автор крадет метафоры и эпитеты у Хемингуэя, Фолкнера, Селлинджера, Белля и других выдающихся писателей.

Разрешите подвести итог. Довлатов стремительно проник в анальное отверстие литературной истории, и место его в анналах — неоспоримо.

Сотрудник института мировой литературы
Доберман Абрам Исаевич."

18.5.70 г.

Надо заметить, что это письмецо сравнительно добродушное. Кроме того, адресовано мне. В дальнейшем тон анонимок станет резче и направляться они будут по инстанциям.

ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ, ЗНАЧИТ — ВЫПИЛИ ЖИДЫ...

Я перехожу к одному из самых неприятных эпизодов моей литературной биографии. Это мероприятие состоялось в январе 1968 года. Пригласительные билеты выглядели так:

"Вторник	Ленинградское отделение
30	Союза писателей РСФСР
января	приглашает Вас на
1968	ВСТРЕЧУ ТВОРЧЕСКОЙ
	МОЛОДЕЖИ

Выступают поэты
и прозаики:

ТАТЬЯНА ГАЛУШКО
АЛЕКСАНДР
ГОРОДНИЦКИЙ
СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ
ЕЛЕНА КУПМАН
ВЛАДИМИР МАРАМЗИН
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ

Во встрече принимают
участие:

ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ
СЕРГЕЙ СЛОНИМСКИЙ
ИННОКЕНТИЙ
СМОКТУНОВСКИЙ
СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ

Молодые артисты, художники, композиторы. Начало в 19 часов. Встреча состоится в Доме писателя им. Маяковского (ул. Воинова, 18)".

Кроме того, собирались выступить Бродский и Уфлянд. Назвать их фамилии побоялись.

Что же произошло дальше?

Разумеется, никому и в голову не пришло сосчитать, какая часть выступающих — евреи. Кто бы стал этим заниматься?!

"Соло на ундервуде":

Мы беседовали с Пановой.

— Конечно, — говорю, — я против антисемитизма. Но ключевые должности в Российском государстве имеют право занимать русские люди.

— Это и есть антисемитизм, — сказала Вера Федоровна, — то, что вы говорите — это и есть антисемитизм. Ключевые должности в Российском государстве имеют право занимать **ДОСТОЙНЫЕ** люди...

Народу собралось очень много. Сидели на окнах. Выступления прошли с большим успехом.

Бродский читал под неумолкающий восторженный рев аудитории.

Через неделю он позвонил мне:

— Нужно встретиться.

— Что случилось?

— Это не телефонный разговор.

Если уж Бродский говорит, что разговор не телефонный, значит, дело серьезное.

Мы встретились на углу Литейного и Жуковского. Иосиф достал из кармана несколько листов папиросной бумаги:

— Прочти.

Я стал читать. Через минуту спросил:

— Как удалось это раздобыть?

— У нас есть свой человек в Большом доме. Одна девица копию сняла.

Вот, что я прочел:*

"Отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС. Т. Мелентьеву. Отдел культуры Ленинградского ОК КПСС. Т. Александрову.

Ленинградский ОК ВЛКСМ. Т. Тупикину.

Дорогие товарищи!

Мы уже не раз обращали внимание Ленинградского ОК

* Документ значительно сокращен.

ВЛКСМ на нездоровое в идейном смысле положение в среде молодых литераторов, которым покровительствуют руководители **ЛО СП РСФСР**, но до сих пор никаких решительных мер не было принято. Пассивное отношение со стороны **ОК ВЛКСМ** привело к тому, что факты антисоветских и особенно — сионистских выступлений в Ленинграде становятся все чаще и чаще.

Например, 30-го января с.г. в Ленинградском Доме писателя произошел хорошо подготовленный сионистский художественный митинг.

Формы идеологической диверсии совершенствуются, становятся утонченнее и разнообразнее, и с этим надо решительно бороться, не допуская либерализма.

К указанному письму прикладываем свое заявление на 8-ми страницах.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы хотим выразить не только свое частное мнение по поводу так называемого "Вечера творческой молодежи Ленинграда", состоявшегося в Доме писателя во вторник 30 января с.г. Мы выражаем мнение большинства членов литературной секции патриотического клуба "Россия" при Ленинградском обкоме ВЛКСМ...

Что же мы увидели и услышали?

Прежде всего огромную толпу молодежи, которую не в состоянии были сдерживать две технические работницы Дома писателя. Таким образом, на вечере оказалось около трехсот граждан еврейского происхождения. Это могло быть, конечно, и чистой случайностью, но то, что произошло в дальнейшем, говорит о совершенно противоположном.

За полчаса до открытия вечера в кафе Дома писателя были наспех выставлены работы художника Якова Виньковецкого, совершенно исключавшие реалистический взгляд на объективный мир, разрушающие традиции великих зарубежных и русских мастеров живописи. Об этой неудоваримой мазне в духе Поллака, знакомого нам по цветным репродукциям, председательствующий литератор Я. Гордин говорил всем братьям по духу, как о талантливой живописи, являющей собой одно из средств "консолидации различных искусств".

Этот разговор, дерзкий и политически тенденциозный, возник уже после прочтения заурядных в художественном отношении, но совершенно оскорбительных для русского народа и враждебных советскому государству в идейном отношении стихотворных и прозаических произведений В.Ма-

рамзина, А. Городницкого, В. Попова, Т. Галушко, Е. Кумпан, С. Довлатова, В. Уфлянда, И. Бродского.

Чтобы не быть голословными, прокомментируем выступление ораторов перед тремя сотнями братьев по духу.

Владимир Марамзин со злобой и насмешливым укором расказал о государстве, в котором ему, автору, живется весьма неловко. В ироническом тоне Марамзин противопоставил народу наше государство, которое якобы представляет собой уродливый механизм подавления любой личности, а не только его, марамзинской, ухитряющейся все-таки показывать государству фигу даже пальцами ног.

А. Городницкий сделал "открытие", что в русской истории, кроме резни, политических переворотов, черносотенных погромов, тюрем, да суеверной экзотики ничего не было, да и вообще, заключает он, если бы обо всем этом не думали (в подтексте они — евреи), тогда бы не было, т.е. России.

Не раз уже читала со сцены Дома писателя свои скорбные и злобные стихи об изгоях Татьяна Галушко. Вот она идет по узким горным дорогам многострадальной Армении, смотрит в тоске на ту сторону границы, на Турцию, за которой близка ее подлинная родина и единственный, и единственный живой человек спасает ее на нашей советской земле — это давно почивший еврей по происхождению, сомнительный поэт О. Мандельштам.

В новом амплуа, поддавшись политическому психозу, выступил и Валерий Попов. Обычно он представлялся как остроумный юмористический рассказчик, а тут на митинге неудобно было, видно, ему покидать ставшую родной политическую ниву сионизма. В коротеньком рассказике В. Попов сконцентрировал внимание на чрезвычайно суженном мирке русской девушки, которая хочет только одного — самца, да покрасивее, но непременно наталкивается на дураков, спортсменов, пьяниц, и в этом ее социальная трагедия.

Трудно сказать, кто из выступавших менее, а кто более идейно закален на своей ниве, но чем художественнее талант идейного противника, тем он опаснее. Таков Сергей Довлатов. Но мы сейчас не хотим останавливаться на разборе художественных достоинств прочитанных сочинений, ибо когда летят бомбы, некогда рассуждать о том, какого они цвета: синие, зеленые или белые.

То, как рассказал Сергей Довлатов об одной встрече бывшего полковника со своим племянником, не является сатирой. Это — акт обвинения. Полковник — пьяница, племянник — бездельник и рвач. Эти двое русских напиваются, вылезают из окна подышать свежим воздухом и летят. Затем у них возникает

по смыслу такой разговор: "Ты к евреям как относишься?" — задает анекдотический и глупый вопрос один. ПОЛКОВНИК отвечает: "Тут к нам в МТС прислали новенького. Все думали — еврей, но оказался пьющим человеком!.."

А Лев Уфлянд* еще больше подливает желчи, плюет на русский народ. Он заставляет нашего рабочего человека ползать под прилавками пивных, наделяет его самыми примитивными мыслями, а бедные русские женщины бродят по темным переулкам и разыскивают среди грязи мужей. "Поэт" делает прямой вывод: "Россия отражается в стеклах пивного ларька".

И в такой "дикой" стороне, населенной варварами, потерявшими, а может быть даже и не имевшими человеческого облика, вещает "поэтесса" Елена Кумпан. Она поднимается от этой "страшной" жизни в нечто мистически возвышенное, стерильное, называемое духом, рожденным ее великим еврейским народом.

Заклучил выступление известный по газетным фельетонам, выселявшийся из Ленинграда за тунеядство Иосиф Бродский. Он распевал, словно псалмы, свои длинные стихи, он как синопсальный еврей, творя молитву, воздевал руки к лицу, закрывал плачущие глаза ладонями. Почему ему было так скорбно? Да потому, как это следует из его же псалмов, что ему, видите ли, несправедливо исковеркали жизнь мы — русские люди, которых он иносказательно называет "собаками".

Последний псалом Иосифа Бродского прозвучал, как призыв к кровной мести за все обиды и оскорбления, нанесенные русским народом еврейскому народу.

Подводя итоги, нужно сказать, что каждое выступление сопровождалось бурей суетливого восторга и оптимистическим громом аплодисментов, что, естественно, свидетельствует о царившем полном единодушии присутствующих.

Мы убеждены, что палиативными мерами невозможно бороться с давно распространяемыми сионистскими идеями со стороны определенной группы писателей и литераторов. Поэтому мы требуем:

1. Ходатайствовать о привлечении к уголовной, партийной и административной ответственности организаторов и самых активных участников этого митинга.

2. Полного пересмотра состава руководства Комиссии по работе с молодыми литераторами ЛО СП РСФСР.

3. Пересмотра состава редколлегии альманаха "Молодой Ленинград", который не выражает интереса подлинных советских ленинградцев, а предоставляет страницы из выпуска в вы-

*Сам ты — лев. Уфлянда зовут Владимир (прим. автора).

пуск для сочинений вышеуказанных авторов и солидарных с ними "молодых литераторов".

Руководитель литературной секции

Ленинградского клуба

"Россия"

при Обкоме ВЛКСМ

Члены литсекции

(В. Щербаков)

(В. Смирнов)

(Н. Утехин) "

4.2.68.

Стоит ли комментировать этот зловещий, пошлый и безграмотный документ? Надо ли говорить, что все это — смесь лжи и демагогии? Однако заметьте, приемы 1938 года жизнестойки. Более того, при всей его дикости, письмо вызвало чуткую реакцию наверху. Требования "подлинных советских ленинградцев" были частично удовлетворены. Руководители Дома Маяковского получили взыскания. Директора попросту сняли. Был также изменен состав комиссии по работе с молодыми литераторами. "Молодой Ленинград" возглавил Кочурин — человек невзрачный, загадочный и опасный.

Единственное, чего не удалось добиться авторам письма — так это привлечения молодых литераторов к уголовной ответственности. А впрочем, поживем — увидим.

ПОМЕСЬ МЫШКИНА С НОЗДРЕВЫМ

Над столом, над застывшей котлетой, над рядами бутылок, над дымом, над прозой житейской возвышается молодой человек.* Грязноватые редкие локоны его перетянуты сапожным шнурком. Сияющие белые глаза, величиной с десертные тарелки, устремлены в пространство. От низкого церковного баса, поднимающегося из глубин двенадцатиперстной кишки, тревожно вибрируют стены.

Он говорит седьмой час подряд. Четверо из гостей уже прилегли на широком диване. Слова, околевая, ворочаются, как доисторические морские чудовища на берегу:

— Пен-клуб... КГБ... Алигьери... Верлибры... Донос... Торопыгин... Созвездие овна... Она не дала, понимаешь, она не да-

*Поэт Охапкин.

ла... (непечатное, печатное, печатное, печатное, печатное...)

— Стихи почитаю, — гудит он.

И вот прозвучали стихи:

... Нас видали в зашторенный иллюминатор
С пассажирского лайнера и с крейсеров,
Нас ловили радары, но, тщетный оратор,
Призрак в море для них, очевидно, не нов.

Но когда дуракам предвещая гибель,
Мы неслись против бури и шли в оверштаг,
Океан побеждал, крейсер остовом дыбил
И тонул, увлекая на дно бедолаг.

Как мне горько стоять у руля Невидимки
И молчать о виденьях былых катастроф!
Как печально вставать перед явью из дымки
Легендарных, не мною написанных строф!

Как мне больно безмолвие истории слышать
И в безвременье время свое коротать,
Чтоб у смерти тоску о бессмертии выжать
И по капле еще не погибшим отдать.

Мне, как видно, не долго уже остается
Сквозь повязку дорогу беды различать,
Но корабль наш и впредь, капитан мой, споется
С океаном. За это лишь стоит молчать!

ПЕЧАЛЬНО Я ГЛЯЖУ...

Язвительное пророчество Анатолия Наймана сбывалось. Я становился "прогрессивным молодым автором". То есть, меня не печатали. Все, что я писал, было одобрено на уровне рядовых издательских и журнальных сотрудников. Затем какая-то невидимая инстанция тормозила мои рукописи. Кто управляет литературой, я так и не разобрался.

"Соло на ундервуде":

Марамзин говорил:

— Если дать рукописи Брежневу, он прочтает и скажет:

"Мне-то нравится. А вот что подумают наверху?!"...

Как бы мне хотелось поговорить с человеком, обладающим непреерекаемой литературной властью, но где уж там...

"Соло на ундервуде":

В.Ф. Панова рассказывала.

Однажды ей довелось быть на приеме в Кремле. Выступал Хрущев. Он изрядно выпил и поэтому говорил долго. Он сказал:

— В доме товарища Полянского была недавно свадьба. Молодым преподнесли абстрактную картину. Она мне не понравилась.

Потом он сказал:

— В доме товарища Полянского была, как я упоминал, свадьба. И вдруг начали танцевать шейк. Это было что-то ужасное.

Потом он сказал:

— Как я уже говорил, в доме товарища Полянского была свадьба. Произносили остроумные тосты. Ничего смешного я в этих тостах не обнаружил...

Вдруг поднялась Ольга Бергольц и громко сказала:

— Мы уже поняли, Никита Сергеевич, что свадьба в доме товарища Полянского — могучий источник познания жизни для вас!..

Естественно, что я подружился с такими же многострадальными голодными авторами. Это были самолюбивые замученные люди. Официальный неуспех компенсировался болезненным тщеславием. Годы неестественного существования отражались на психике. Высокий процент душевных заболеваний свидетельствует об этом. Да и не желали в мире призраков соответствовать норме.

"Соло на ундервуде":

Как-то раз Найман и Губин долго спорили о том, кто из них более одинок.

Конечский и Базунов чуть не подрались из-за того, кто из них опаснее болен.

Ну, а Шигашев и Горбовский вообще прекратили здороваться. Поспорили о том, кто из них менее нормальный:

— Какой-то ты стал чересчур нормальный, — твердил Шигашев.

— Я-то ненормальный, — убеждал его Горбовский, — а вот ты действительно того...

Строжайшая установка на гениальность мешала овладению ремеслом, выбивала из будничной жизненной колеи. Можно быть рядовым инженером. Рядовых изгоев не существует. Сама их чужеродность — залог величия.

Те, кому удавалось изредка печататься, жестоко расплачивались за это. Их душевный аппарат тоже подвергался какому-то болезненному разрушению. Многоступенчатые комплексы складывались в крупную безобразную постройку. Цена компромисса была непомерно высокой.

"Соло на ундервуде":

Как-то раз Битов ударил в ресторане Андрея Вознесенского. Битова судили товарищеским судом. Плохи были его дела.

— Выслушайте меня, — сказал Битов, — уверен, что вы меня поймете. Вы меня поймете, и все станет ясно. Вы поймете и простите меня, когда узнаете все нюансы. Я расскажу вам все. Дайте мне высказаться. Вот как было дело. Захожу я в Континенталь, стоит Андрей Вознесенский. Ну посудите сами, мог ли я не дать ему по морде?!

Ну и конечно же, здесь царил вечный спутник российского литератора — алкоголь. Пили много, без разбора, до самозабвения и галлюцинаций.

"Соло на ундервуде":

Однажды после жуткого запоя Вольф увез Эдика Копеляна в Сосново. На лоно природы.

Копелян вышел из электрички, схватил Вольфа за руку и, указывая пальцем, закричал:

— Смотри, птица!..

Как меня приняли за Куприна.

Выпил я лишнего, сел в автобус и отправился по делам. Рядом сидела девушка, и я заговорил с ней, чтобы уберечь себя от сна и оупения. В это время наш автобус миновал ресторан "Приморский", бывший — "Чванова".

Я сказал:

— Любимый ресторан Куприна!

Девушка отодвинулась и говорит:

— Оно и видно, молодой человек!..

Пьяный Холоденко шумел:

— Ну и жук этот Гюнтер де Бройн! Украл, паскуда, мой сюжет!..

Относился я к товарищам сложно, любил их, жалел, издевался над ними. То и дело заводил себе приличную компанию, но всякий раз бежал, изнывая от скуки. Конечно, это снобизм, но говорить я мог только о литературе. Даже разговоры о женщинах казались мне всегда неимоверно скучными.

По отношению к друзьям владели мной любовь, ирония и жалость. Но в первую очередь любовь.

"Соло на ундервуде":

Встретил я однажды поэта Горбовского. Он и говорит:

— Со мной произошло несчастье, оставил в такси рукавицы, шарф и пальто. Ну, пальто мне дал Иосиф Бродский. Шарф — Кушнер. А рукавиц до сих пор нет.

Тут я вынул свои перчатки и говорю:

— Глеб, носи на здоровье!

Мне было лестно и приятно оказаться в такой системе: Бродский, Кушнер, Горбовский и я.

На следующий день Горбовский пришел к Битову, рассказал про утраченную одежду и кончил так:

— Ну ничего, пальто мне Бродский дал, шарф — Кушнер, а рукавицы... Васька Аксенов...

Инга Петкевич как-то раз сообщила мне:

— А ведь когда мы были едва знакомы, я подозревала, что ты агент КГБ.

— Но почему? — спросил я.

— Да как тебе сказать. Явишься, займешь пятерку — время отдашь. Странно, думаю, не иначе как подослали...

Поэт Охалкин надумал жениться. Затем невесту выгнал.

Мотивы:

— Она, понимаешь, медленно ходит, а главное — ежедневно жрет!..

ПОЗВОЛЬТЕ РАСПИСАТЬСЯ В ДОБРОТЕ

Писатель Рид Грачев страдал шизофренией. То и дело лечился в психиатрических больницах. Когда болезнь оставляла его, это был умный, глубокий и талантливый человек. Он выпустил единственную книжку — "Где твой дом". В ней шесть рассказов, трогательных и ясных.

Когда он снова заболел, я навещал его в Удельной. Разговаривать с ним было тяжело.

Журналист по образованию, он бросил газетную работу. Источника существования не было. Друзья решили ему помочь. Литературовед Тамара Юрьевна Хмельницкая позвонила двадцати шести знакомым. Все согласилось давать ежемесячно по три рубля. Требовался человек, обладающий досугом, который бы непосредственно этим занимался. Я тогда был секретарем Пановой, хорошо зарабатывал и навещал ее через день. Тамара Юрьевна предложила мне собирать эти деньги и отвозить их Риду. Я, конечно, согласился.

У меня был список из двадцати шести человек. Я принял за дело. Первое время чувствовал себя неловко. Но большинство участников мероприятия легко и охотно выкладывало свою долю.

Алексей Иванович Пантелеев сказал:

— Деньги у меня есть. Чтобы не беспокоить вас каждый месяц, я дам тридцать шесть рублей сразу. Понадобится еще — звоните.

— Спасибо, — говорю.

— Это вам спасибо.

Метод показался разумным. Звоню Гранину. Предлагаю ему такой же вариант. Еду на Петроградскую. Незнакомая дама выносит три рубля.

Мы стояли в прихожей. Я жутко покраснел. Взгляд ее говорил, казалось:

— Смотри, не пропей!

А мой, казалось, отвечал:

— Не извольте сумлеваться, ваше благородие!

У литератора Б.* я просидел часа два. Все темы были исчерпаны, а денег он все не предлагал.

— Знаете, — говорю, — мне пора.

Наступила пауза.

— Я, конечно, трешку дам, — сказал он, — но только моему Риду не сумасшедший.

— Как не сумасшедший?

* Фамилии не называю. Это добрый человек, не знаю, что с ним произошло.

— Не сумасшедший и все. Поумнее нас с вами.
 — Но его же лечили!
 — Я думаю, он притворяется.
 — Ладно, — говорю, — мы собираем деньги не потому, что Рид больной, а потому, что он наш товарищ. И находится в чрезвычайно стесненных обстоятельствах,
 — Я тоже нахожусь в стесненных обстоятельствах. Я продал улыи.
 — Что?
 — Я имел семь ульев на даче. Я вынужден был три улья продать. А дачу вы бы видели! Одно название...
 — Что ж, тогда я пойду.
 — Нет, я дам. Конечно, дам. Просто Рид Грачев не сумасшедший. Знаете, кто действительно сумасшедший? Лурье из журнала "Нева". Я дал в "Неву" исповедальный роман, а он мне пишет, что это гипертрофированная служебная характеристика. Вы знаете Лурье?
 — Знаю, — говорю, — это самый талантливый критик в Ленинграде...
 С писателем Р.* встреча была короткой.
 — Вот деньги. Где расписаться?
 — Нигде. Это же добровольное мероприятие.
 — Ясно. И все-таки для порядка...
 — Вы не беспокойтесь. Я деньги передам.
 — Как вам не стыдно! Я не это имел в виду. Я привык расписываться.
 — Ну хорошо. Распишитесь вот тут.
 — Это же ваша записная книжка.
 — Да. Я собираю автографы.
 — А что-нибудь порядка ведомости?..
 — Порядка ведомости — нету.
 Р. со вздохом произнес:
 — Ладно. Берите так.
 В общем, уклонился я от этого поручения. Мои обязанности взяла на себя Тамара Юрьевна Хмельницкая, больная и старая женщина.

Помочь Риду не удалось. Он совершенно болен.

* Р. умер. Его фамилию упоминать не следует.

"НЕ ВПРАВЕ ОПРАВДЫВАТЬ ТЕХ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ КОТОРЫХ..."

Есть один документ, характеризующий наши литературно-издательские порядки. (Копия снята в Ленинградском обкоме). Его предыстория такова.

Была такая нашумевшая книга — "Мастера русского стихотворного перевода". Ей предпослана статья Эткинда. Коротко, одна из его мыслей заключается в следующем. Большие поэты не имели возможности печатать оригинальные стихи. Чтобы заработать на хлеб, они становились переводчиками. Качество переводов возросло за счет качества литературы в целом.

Теперь читаем:

"ЗАВЕДУЩЕМУ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБКОМА КПСС тов. АЛЕКСАНДРОВУ Г.П.

Клеветническое утверждение Е. Эткинда о характере развития нашей литературы в советский период во вступительной статье к книге "Мастера русского стихотворного перевода" не может не вызвать у меня возмущения.

Хотя с января 1968 года редакция "Библиотеки поэта" не подведомственна мне в смысле прохождения рукописей, но я, как руководитель отделения издательства, как коммунист, не имею права оправдывать себя юридическим невмешательством. Есть сторона политико-моральная, обязывающая каждого члена партии любыми средствами бороться за чистоту нашей идеологии.

Строгие административные меры, которые будут предприняты руководством издательства к людям, непосредственно допустившим антисоветский выпад Эткинда — это естественно, но главный вывод из случившегося, главное состоит в том, чтобы повысить в издательстве воспитательную работу в соответствии с решением апрельского Пленума ЦК КПСС, исключить малейшую возможность протащить в отдельных произведениях взгляды, чуждые социалистической идеологии нашего общества.

Директор Ленинградского
отделения издательства
"Советский писатель"
(Г.Ф. Кондрашев)
11.10.68."

Чего можно ждать от издательства, если "ключевые должности в них имеют право занимать" такие ничтожные люди?!

В ТЕНИ ЧУЖОГО ЮБИЛЕЯ

Летом 1968 года меня отыскал по телефону незнакомый человек. Назвался режиссером Аристарховым. Сказал, что у него есть заманчивое предложение.

Мы встретились. Режиссер производил впечатление человека, изнуренного многодневным запоем. (Что с готовностью и подтвердил). Вид его говорил о тяжком финансовом бесилии.

Он предложил мне написать сценарий документального фильма о Бунине.

Облик режиссера настораживал. Но я тут же подумал, что знаменитый режиссер не стал бы ко мне обращаться. Следовало довольствоваться этим.

Я позвонил моему бедствующему товарищу, филологу Арьеву. Вдвоем мы написали заявку на шестнадцать страницах.

Мы любовались своим произведением. В нем были четко сформулированы идейные предпосылки. Ведь Бунин — эмигрант, который так и не раскаялся. Мы выдвинули термин "духовная репатриация" Бунина, и очень им гордились. Упомянув о приближающемся столетии Бунина, мы взывали к чувству национальной гордости. Мы украсили заявку готовыми фрагментами будущего сценария. А в конце выразили скромную готовность поехать во Францию, чтобы лучше ознакомиться с архивами Бунина.

Аристархов восхищался нашим кинематографическим чутьем. Ведь опыта мы не имели.

— Саму заявку можно экранизировать, — говорил он, — я ее вижу!

Его левый карман был надорван. Полуботинки требовали ремонта. Шнурки отсутствовали.

То и дело он начинал бредить:

— Экипаж с поднятым верхом... Галки фиолетовыми пятнами отражаются в куполе собора... Стон колодезного

журавля... Веранда... Брошенный мольберт... Что ж, камин затоплю, буду пить...

И он действительно запил. Бунин отодвинулся на второй план.

— Представляете, — говорил Аристархов, — в лаборатории нашей студии есть электрофон, который записывает шепот на расстоянии четырехсот метров. Спрашивается, чем же тогда располагает КГБ?..

С трудом установили мы адрес студии и фамилию редактора. Потом отослали заявку. Ответ пришел через месяц:

**"Экспериментальная
творческая
киностудия
Москва, Воровского, 33.**

Уважаемые товарищи Арьев и Довлатов!

Могу сообщить вам, что заявка на фильм о Бунине произвела яркое впечатление. Чувствуется знание темы, владение материалом, литературная и кинематографическая подготовленность авторов.

Но увы, экспериментальная творческая киностудия лишена возможности производить документальные фильмы. Наш Устав определяет задачи студии производством художественных картин. Мы не создаем документальных фильмов еще и потому, что их реализация лишает нас возможности оценивать ход коммерческого эксперимента, предпринимаемого студией.

Хочу открыть вам маленький секрет — ваша заявка используется в качестве учебного пособия для начинающих авторов.

**С уважением и наилучшими пожеланиями
член сценарно-редакционной коллегии ЭТК
(Л. Гуревич)"**

24 сентября 1968 года.

Письмо было довольно загадочным. Мы долго исследовали противоречивый текст. Арьев произнес с каким-то неуместным удовлетворением:

— Нам отказали — это главное!

Мы решили забыть эту историю.

Через неделю я получил открытку из Москвы:

"Наивный Сережа!

Гуревичу не верьте. Вот истинные причины отказа. Иван Алексеевич нахально родился в 1870 году. Как и В.И. Ленин.

Юбилей вождя мирового пролетариата конечно же затмил юбилей белоэмигранта.

Итак. Ваш изысканный Бунин провалился. Мой неотесанный Куприн оплачен и запускается в производство.

Целую. Ваш (Е. Рейн)"

19 октября 1968 года.

ВОСТОК ЕСТЬ ВОСТОК

Мне позвонил драматург Александр Володин:

— Сережа, хотите заработать?

— Очень, — говорю.

— Жду вас на Ленфильме. Приехали двое из Тбилиси. Члены ЦК комсомола Грузии. Окончили в Москве сценарные курсы. Имеют предписание Ленфильму — снять дипломную художественную короткометражку.

— А я-то при чем?

— Сценарий ужасный. Надо переписать его русским языком. Тут уже составляют договор. Вы будете третьим соавтором. Заработаете рублей четыреста.

—Ого!

Я приехал на Ленфильм. Грузины производили сильное впечатление. Это вам не Аристархов! На них были замшевые куртки и джинсы. Один представился:

— Джон.

Второй сказал:

— Гриша.

Сценарием они были вполне довольны. Попытку Ленфильма навязать меня в качестве соавтора восприняли мужественно. Это взятка, решили они, которую необходимо дать студии. То есть, все правильно. Как в Грузии.

Я быстро прочитал сценарий. Действительно, жалкое произведение. Дорожная кутерьма со спадающими штанами. Уцененный Чаплин.

— Картина будет немая, — сказал Джон, — в манере тридцатых годов.

Гриша украдкой заглянул в какие-то бумаги, страшно напрягся и выговорил:

— В рамках обусловленного молчания.

Мы уединились, чтобы все обсудить. Джон и Гриша вели себя миролюбиво. Я был неотвратимым, неотразимым злом, той данью, которую гений вынужден платить современному обществу.

С нами заключили договор. Я взял экземпляр сценария, чтобы дома его переписать.

На прощанье грузины сказали:

— Мы по своим убеждениям — джасис-сс-с...

— Кто? — не понял я.

— Джасис-сс-с...

Я растерялся: "джазисты, что ли?.."

— Кто? — еще раз спрашиваю.

— Джойсисты, последователи Джойса, — объяснил сообразительный Володин.

Вот уж не подумал бы, читая сценарий. Начинаясь он так: "Большой, большой вагон. Сидит Гурам. Билета нет..."

Неделю я переписывал сценарий. В моей редакции он назывался: "Ослик должен быть худым".

Первые кадры мне, ей-богу, нравились.

Мчится поезд. Неожиданно замедляет ход. Тормозит. Из окна высовывается машинист. Улыбается, терпеливо ждет. В чем дело. Камера приближается. Через рельсы переползает божья коровка...

Володин, которому я показал текст, его одобрил:

— Неплохо. Даже здорово!

Я встретился с грузинами. Они внимательно читали, передавая друг другу страницы.

Наконец Джон сказал:

— Хороший сценарий. Не хуже того, что был. Я посвящаю его тебе, Гриша.

— А я тебе, Джон!

Мы отвезли сценарий на Ленфильм. Через несколько дней позвонил Володин:

— Сережа, я вас жутко подвел. Непредвиденная история. Грузины оказались самозванцами, мошенниками. То есть, они действительно члены ЦК комсомола. Но они не заканчивали сценарных курсов. У них липовая справка и фальши-

вое предписание. А Ленфильм без предписания короткометражек не снимает. Но деньги вы получите.

— А грузины что, арестованы?

— Грузины пьют коньяк в буфете...

Денег я не получил. Зашел к руководителю Второго объединения Дмитрию Молдавскому. Начал ему объяснять, как и что. Молдавский рассеянно улыбался. Вдруг я заметил, что он меня рисует. И довольно похоже. Я понял, что разговаривать с ним бесполезно, и ушел.

— Знаете, — говорил потом Володин, — я все понимаю. То, что эти мошенники в ЦК — понимаю. То, что бездарные — понимаю. То, что у них фальшивая справка — понимаю. То, что Ленфильм по договору не заплатил — понимаю. Я одного понять не могу. Как эти жулики осмелились не угостить вас коньяком?!..

(Окончание в следующем номере)

**КНИГотоварищество
"МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ"**

**ИЛЬЯ РУБИН
"ОГЛЯНИСЬ В СЛЕЗАХ"**

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ

Книга стихов, эссе и прозы безвременно скончавшегося поэта, прозаика, критика Ильи Рубина, остро чувствовавшего свою принадлежность двум культурам — русской и еврейской — и драматически выразившего это свое двойное культурное подданство в своем творчестве.

Цена книги — 6 долларов (с пересылкой).

Заказы и чеки направлять по адресу:

P.O. Box 23121, Tel-Aviv, Israel.

Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ

ТРАМВАЙНАЯ МОСКВА

Светке

Москва пропахла
потом и духами,
стихам и клятвам
позабыла счет.
Она стоит
в слепом июльском гаме,
как женщина
с красивыми ногами,
усталая,
не старая еще.
И мчатся ли троллейбусы
с жужжаньем,
скрипят ли в переулке
тормоза —
я обречен
с угрюмым обожаньем
смотреть

в ее спокойные глаза.
И что бы ни случилось:
рев команды,
рывок вначале
и удар в конце —
полоска
полустершейся помады
не шевельнется
на ее лице...

1965

* * *

Цыганки бродят по Москве
в нарядах праздничных и пестрых,
и каждая — как южный остров,
лицо скрывающий в листве.

Ребенок тоже вышел в путь
под шалью беспросветно-черной.
Ему в общественной уборной
дадут коричневую грудь.

Его судьба — гадать и красть,
сменять Кавказ на Подмоскowie...
Палеолит? Послевековые?
Какой закон, какая власть?..

Цыганки бродят по Москве.
Галдят и кланчат папиросы,
и в парке, распустивши косы,
сидят на стриженной траве,

и по асфальту площадей
ползут тяжелые как гири.
Страной в стране и миром в мире
они живут среди людей.

И в этот мир нам хода нет.
И значит, мы ему не судьи.

Безвестные, чужие судьбы,
чуть слышный зов, чуть зримый след...

Цыганки бродят по Москве
в нарядах праздничных и пестрых.
И каждая — как южный остров,
лицо скрывающий в листве...

1965

* * *

Трамвайная Москва тебя скрывает
в скрещении рельс, в асфальтовой пещере,
в районе осязаемого чуда,
за адовой чертой — черт знает, где.
Там судорожно дышит мостовая,
как днище раскаленной сковородки,
и, как погромщик, в узком переулке
прямое солнце бьет по голове.

Но прошлое, лукавый лжемесия,
ведет меня на бреющем полете
в прохладное нутро воспоминаний.
Вот дверь твоя. Звонок. И я вхожу.
Мы десять лет не виделись, как будто?
Естественно, что ты не изменилась.
Утюг поставишь. Сядешь. Скривишь губы.
Попросишь: "Расскажи мне что-нибудь..."

Я расскажу тебе, как вечерами
пронзительна тоска о невозвратном,
как страшен воздух, обогнавший время,
от тренья разогретый добела...
Ты тихо возразишь: "Я это знаю.
Скажи мне лучше, как твое здоровье,

где ты живешь, что делаешь, что пишешь,
какие фильмы видел без меня?"

Я расскажу, какие видел фильмы...
С короткой шеей и высокой грудью,
мой давний недруг, верный мой соперник,
твоя соседка сонная войдет.
Когда она уйдет — уж будет поздно:
не начинать же исповедь сначала!
Ты скажешь: "Посиди еще немного...",
что будет означать: "Тебе пора".

Трамвайная Москва гремит по крышам,
купается в расплавленном июле,
дымящееся варево готовит
из потных тел и пыльного тряпья...

И в этой мешанине растворившись,
я думаю: "Минуй меня блаженство!
Ни исповеди легкой, ни прохлады,
ни прошлого — не надо ничего..."

1966

* * *

В наш быт, расчерченный до мелочей,
рассчитанный на щи и бутерброды,
в наш обобщенный, суточный, ничей —
врывается прелюдия природы.
Мы, как в бреду, хватаем рюкзаки,
рубашку, ножик, пару книжек с полки,
и окна разлетаются в куски,
и звездами становятся осколки.
И приземлившись где-то у Десны
в траву, в ромашку, в хруст ее и запахи,
мы слышим, как по краю тишины
крадутся звуки на кошачьих лапах.
Крадутся, собираются в кружок.

и шепчутся, и медлят приближаться.
Вот плеск в реке русалок. Вот рожок
заблудшего ночного дилижанса.
А вот сверчка густая дребедень
и тень ее — на помеле и в ступе.
И чертов лес горит, как божий день,
и только утром сумерки наступят.
Но в час, когда дрозды болтают вздор
и солнце начинает путь по кругу, —
очнется город — мертвый Командор
и нам протянет каменную руку...

ЧТО Я МОГУ

Я могу разделить этот мир
на счастливых людей и несчастных.
А счастливых опять разделить —
по степени счастья.
И самых счастливых опять разделить
и так далее.
И окажется вдруг,
что самые-, самые-, самые-
это самые, что ни на есть, разнесчастные
люди!

Значит, я не могу разделить этот мир
на счастливых людей и несчастных.

Но вот, что могу я сделать.
Я могу постоять на углу
между прачечной и магазином.
Пусть подходят ко мне
все хромые, слепые, горбатые.
Все уроды, себя сознающие вечно в обиде.
Пусть подходят ко мне
и, как честь, отдают мне частицу своих
привилегий.

И во всю эту боль
я оденусь, как в новую кожу.
И не спрашивать, только не спрашивать,
много ли стало счастливых! —
это самое большее, что я могу.

1967-68

ДОМ ОТДЫХА

Дом отдыха. Сугробы снежные.
Фонарь, похожий на серьгу.
Протоптаны тропинки свежие
в глубоком, голубом снегу.
Ночной состав кричит на станции,
тараша сонные глаза.
Сегодня в клубе вечер с танцами,
и значит, переполнен зал...

Вошла. Еще твой взгляд растерянный
к потокам света не привык, —
уже с улыбкой, парень стрелянный,
к тебе подходит массовик.
И голос бархатисто-ласковый
плетет бессмысленную смесь.
И весь он маслянисто-лаковый,
и как тюлень, блестящий весь.
Ты комплиментом не утешена —
нет, нет, ему не сдобровать...
Но ты веселая, ты женщина,
и ты идешь с ним танцевать.
Его глаза мутны, как лужицы,
мелькают тени на стене,
и все вокруг плывет и кружится,
и исчезает в пелене...

Потом, покинув дом протопленный,
девчонок, пляшущих в кругу,

ты с ним идешь тропой, протоптанной
в глубоком, голубом снегу,
И взгляд уже не возмущается,
и тяжелеет голова,
и поцелуи возвращаются,
и все прощаются слова.
Всему, всему на свете верится,
все сказка, а не сон дурной...
А ключ уже послушно вертится
В бесшумной скважине дверной...

А. ХВОСТЕНКО
А. ВОЛОХОНСКИЙ

ПЕСНЯ

Прославление американского гражданина
ОЛЕГА СОХАНЕВИЧА
 и его необыкновенного побега с борта теплохода
"РОССИЯ"
 (о том, как он попал к туркам и был ими отпущен)

В море Черном плывет "Россия"
 Вдоль советских берегов
 Волны катятся большие
 От стальных ее бортов

А с советских полей
 Дует Гиперборей
 Беспокоя чудовищный Понт

Соханевич встает
 В руки лодку берет
 И рискует он жизнью своей.

Как библейский пророк Иона
 Под корабль нырнул Олег
 Соханевич таким порядком
 Начал доблестный свой побег

Девять дней и ночей
 Был он вовсе ничей
 А кругом — никаких стукачей

На соленой воде
 Ограничен в еде —
 Словно грешник на Страшном Суде.

На турецкий выходит берег
 Соханевич молодой
 Турки вовсе ему не верят
 Окружая его толпой

И хватают его
 И пытаются его
 — Говори, — говорят, — отчего?

Ты не баш — ли — бузук
 Ты нам враг или друг
 И откуда свалился ты вдруг?

— Плыл-приплыл я сюда по водам
 Как персидская княжна
 От турецкого народа
 Лишь свобода мне нужна

Я с неволи бежал
 Лишь свободы желал
 Я приплыл по поверхности вод

Я не баш — не — бузук
 Я не враг и не друг
 И прошу не чинить мне невзгод!

Турки лодку проверяли
 Удивлялися веслам
 И героя соблазняли
 Чтоб завлечь его в ислам

— Если ты, — говорят, —
Десять суток подряд
Мог не есть и не пить и не спать

То тебе Магомет
Через тысячу лет
Даст такое — что лучше не взять.

— Не тревожьте, турки, лодку
Не дивитесь веслам
Лучше выпьем вместе водку
Ведь свобода — наш ислам

В нашей жизни одно
Лишь свободы вино
И оно лишь одно мне мило

Мне свобода мила
Вот такие дела
И прошу не неволиť меня.

Возле статуи Свободы
Ныне здравствует Олег
— Просвещенные народы,
Мы друзья ему навек!

Лишь такими как он
От начала времен
Восхищается наша земля

Он прославил себя
И меня и тебя
Смело прыгнул за борт корабля.

Париж 1977 г.

Константин КУЗЬМИНСКИЙ

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Любимая, либо мой вопль немотою строки удлинённый
удивлённых и строгих ресниц коснется твоих
либо любовник (удавлённый) давно ли тобой удалённый
неутолённой страстью будет пылать за двоих
плавать в пылу поцелуев твоих ли простывших
плакать в пыли у колен склонившись твоих
глаз твоих не понявший и ласк твоих не простивший
руки к тебе простирающий дабы постигнуть двоих
эти стигматы любви на ладонях его охладевших
рук охвативших нагие колени твои
стиснувших плотно последний проблеск надежды
жаждой палимых, немых к поклоненью двоих
если обоих обнять ты не сможешь солгавши
если залогом любви не ценишь поцелуи твои
стансы слагавшему, песни свои излагавшему
как промолчать о любви разделив ее на двоих
выдохом боли и вздохом надежды к тебе обращаюсь
тщась обрести обречённое тело твоё
он ли обрящет иль я удручённый отчаюсь
вечно пребудем мы пред тобою вдвоем.

Из одноименной книги стихов

Когда ты уезжаешь, остаются цветы.
 Остается мое постоянство и стихи, настоенные на стыдливой
 мольбе — останься!
 О стансы, написанные в минуты тоски по тебе!
 Когда ты уезжаешь, улетаешь, уходишь (о нет, тебе не
 угодишь) — ах, как это нехорошо;
 когда ты оставалась, обнимала, отдавала округлые
 губы свои — о, останься!
 Но когда ты уезжаешь, когда сужается мир, как окно перед
 осужденным на пожизненное заключение — не осуждай
 меня за мои опрометчивые суждения, — жди и
 нет, это я должен ждать тебя, сдерживаясь от
 судорожных надежд и ужасов — уже свершившегося и
 ожидающего завершения — о где же ты!
 Сброшенные одежды, надежду сулящие, вселяющие
 веселие в душу — в объятьях душѹ тебя
 но когда ты уходишь, холодным хохотом отзываются стены
 стенания мои не слышны: не слишком ли велико
 расстояние, растерзанию предоставленного
 не раскаяние сковывает руки мои — тоской по тебе,
 когда мир расколот — холод камней, ко мне
 склоненных — осклизлых стен постепенное
 (пространства меж ними) суживание
 с ужасом — Суженая моя! Но я
 когда ты уходишь, остаюсь, тобою распластаный (распятый
 на стене — о нет!) — не расспрашивай, если я
 остаюсь и уста остывают твои от моих поцелуев
 горячечных
 когда я остаюсь. Горечью (гордостью) — робостью руки
 (руки твоей) вымаливающий, вымалчивающий имя
 твое, ими не понятое — поднятое до небес беспомощным
 (беспольным) криком моим
 о имя выдохом высказанное
 когда ты ушла
 нет, когда ты в ушах — голосом, разговором, выговором
 негодования твоего на мои неугодные речи —
 речитативом пропетые песни тебе, плеском зрачков
 на тебя удивленно взирающих, вбирающих радость

последнюю, взывающих, плачущих, воющих, кричащих
 от боли, тоскою скулящих, голодных, холодных,
 ноющих и молящих, поющих (о нет!),
 визжащих
 когда уезжаешь ты

Где Петропавловская крепость
 холодный профиль свой хранит,
 и волны плещут о гранит,
 свою доказывая кротость,
 где Летний сад осенним гротом
 сокрыл холодный мрамор тел,
 и души бродят в темноте
 над опустевшим Петроградом —
 мне больше ничего не надо:
 бродить по выбитым камням,
 где Муза снизойдет ко мне
 под серым петербургским небом.
 О небо, проклятое Фебом! —
 Его не видно сквозь дожди —
 рядном туман; сиди, и жди,
 и никого не видно рядом.
 Кружатся листья. Как я рад им.
 И путь кружной через канал,
 и тусклый фонарей накал,
 когда прохожие так редки,
 пустые новостроек клетки,
 мостов классический овал...
 Я твои руки целовал
 и поверял пустые клятвы.
 Печально догорали клены,
 и город, утомленный, спал.

... Луна гляделась в канал
 зрачком холодным и зеленым.



КРУШЕНИЕ ЧУДА: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Беседа главного редактора журнала "Время и мы" Виктора Перельмана с главным редактором газеты "Едиот Ахронот" доктором Г. Розенблумом.

В. П е р е л ь м а н . Доктор Розенблум, я хорошо помню, как еще в 1973 году, в разгар массовой алии из Советского Союза, вы были одним из тех журналистов, кто поднимал наиболее острые проблемы еврейской эмиграции. Не все с вами соглашались. С вашими статьями были связаны острые дискуссии в печати. Тогда в полемическом запале, вызванном первой встречей тысяч новых иммигрантов из СССР с израильским обществом, было много субъективного, много горячности и передержек. Но, может быть, сейчас, по прошествии пяти лет, как говорят, "во всеоружии накопленного опыта", стоит оглянуться назад, чтобы иным, трезвым взглядом оценить происшедшее. Как это ни прискорбно констатировать, но сегодня мы стоим перед лицом провала массовой алии. "Чуда двадцатого века" в глазах каждого непредвзятого человека больше не существует. Вы знаете, что в связи с этим не прекращается критика в адрес правительства, в адрес из-

раильского общества. Но в чем все-таки причина этого провала? Вероятно, вам приходилось слышать: "А было ли вообще израильское правительство заинтересовано в массовой иммиграции из СССР? Не имеем ли мы дело со своего рода пропагандистским шагом — когда, вместо заботы о живых людях, мы слышали неумолчный гром фанфар — и все во имя определенных идеологических и экономических целей? Существует и другая точка зрения — что Израиль и его правительство, может быть, и хотели алию, но оказались совершенно неподготовленными к приему тех, кто приехал из Советского Союза. Так или иначе, новоприбывшие из Советского Союза приехали не в тот Израиль, который жил в их представлении. Рушились самые светлые идеалы. Надежды сменялись разочарованием...

Г. Р о з е н б л у м . Вопрос этот не так прост, и в нем, пожалуй, следует разобраться. Для этого давайте обратимся к прошлому. Еще со времен основания Израйла и даже до его основания, во время существования подмандатной Палестины, здесь всегда думали о том, чтобы укрепить с помощью алии позиции страны. И это заботило куда больше, чем благо самих иммигрантов. Это не был эгоизм, а если и был, то эгоизм национальный, а не личный. О советском еврействе всегда думали, как о какой-то мечте, как о пришествии Мессии. При этом старожилы вспоминали о русских евреях, как о наиболее национально настроенных евреях. Вспомните, куда отправился в свое время Теодор Герцль. В Западную Европу? или в Южную Европу? или еще куда-то? Он поехал в Россию в Петербург, затем в Вильно... Потому что там были евреи, к которым сионизм обращался прежде всего. А кто начал строить Палестину? Исключительно русские евреи, потом стали присоединяться другие. Мы представляли: вот придет советское еврейство, и оно переменит здесь все. Я сам с чувством некоторой неловкости вспоминаю свои статьи, которые писал лет восемь-девять назад, когда только начали поговаривать об эмиграции из Советского Союза — что евреи из России — это вам не американские и не английские евреи, это настоящие сионисты, настоящие халуцим, они приедут и все возьмут в свои руки, и правильно сделают, потому что не кто-

то иной, а они должны вести страну. Это было то чувство, которое овладевало многими накануне массовой иммиграции. Затем началась алия — вас еще тогда не было. Первых встречали с оркестрами, и не потому, что правительство так организовало, а потому, что этот особый подъем энтузиазма переживал сам народ. Вы говорите, что новоприбывшие из России встретили здесь совсем не то, чего ждали. Но ведь и в Израиле встретили совсем не тех евреев, о которых мечтали и думали. Так что если и было непонимание, то оно было взаимным, возможно, мы действительно не знали советских евреев. Помню, еще до Шестидневной войны вернулся один из наших послов в Москве — доктор Гарел. Он созвал журналистов и делился своими впечатлениями, как разъезжал по Советскому Союзу, был в Сибири, на Западе. Свой рассказ он резюмировал примерно так: "Я думал найти там совершенно других евреев. Все-таки пятьдесят лет коммунизма не могли не переменить Россию. Но, сказал он, Россия переменялась, а советское еврейство, каким было пятьдесят лет назад, таким и осталось. Приехал я однажды, продолжал он, под Кишинев в один очень большой колхоз, и мне говорят, что евреи, работающие в этом колхозе, хотят со мной встретиться. Я страшно обрадовался, что в колхозе есть евреи. И, действительно, пришли три еврея — один — кассир, один — редактор колхозной стенгазеты и третий — какой-то хозяйственник. Других я не нашел. Так что — евреи чем занимались, тем и продолжали заниматься". В каком-то смысле все это было верно: советские евреи в массе своей действительно не пошли на физическую работу. Но в другом смысле он не был прав: пятьдесят лет советского строя переменяли психологию этих людей. Это были совершенно не те люди, которых мы оставили в свое время в России. И тут некоторые даже говорили: "Вы ждете русских евреев, а приезжает совсем другой народ". Хуже или лучше — это другой вопрос, но это совершенно не те евреи. Во-первых, объективно, они полностью оторваны от корней своего народа, от его культуры. Русское еврейство, которое было самым еврейским во всем мире, стало наименее еврейским. Во-вторых, создается впечатление, что большинство евреев, которые уезжают на Запад, не столько хотят при-

ехать в Израиль, сколько уехать из Советского Союза.

В. П е р е л ь м а н . Что верно, то верно: в действительности советские евреи оказались совсем не такими, какими их представляли здесь. И те, кто приезжает в Израиль, и те, кто едет на Запад, и те, кто, приехав, остается здесь, — все они, в том смысле, в каком вы говорите, продолжают жить не еврейской жизнью. Но тогда возникает такой вопрос — если Россия, по количеству евреев, остается все-таки главным резервом страны, — хотим мы этого или не хотим, устраивают нас советские евреи или не очень, ведь там, а не в Соединенных Штатах, и не в Европе, и не в Южной Америке, живет большинство людей, которые, в принципе, могут приехать в Израиль, — так вот тогда встает проблема: как здесь быть? Переделать в обратную сторону советское еврейство, которое шестьдесят лет так упорно ассимилировала и ломала советская власть? Более фантастическую задачу трудно себе представить. Изменить психологию? Это можно сделать в течение нескольких поколений. Но если как данность существует определенная ментальность, как сейчас любят говорить, то разве это не значило, что у правительства, объявившего борьбу за алию своей исторической миссией, не оставалось иного выхода, как приспособиться к этому "материалу", научиться, так сказать, притягивать его. Либо приспособиться и притягивать, либо отталкивать — другого пути нет. Но насколько развился этот процесс притяжения за истекшие пять лет? Боюсь, тут мало что изменилось — проблема "взаимного отталкивания", возникшая в первые годы массовой алии, скорее загнана вглубь, но вряд ли снята с повестки дня. Существующие тут исключения не меняют правила. И те, кто говорят об израилизации русской алии, скорее просто не хотят смотреть фактам в глаза.

Г. Р о з е н б л ю м . Вы совершенно правы — тут почти ничего не делалось для того, чтобы приспособиться к новой алии.

В. П е р е л ь м а н . Почему?

Г. Р о з е н б л ю м . Почему? На этот вопрос мне трудно ответить. Почему мы в течение десяти лет до образования государства как будто копили оружие, а когда подошел сорок восьмой год, и появилось государство, и арабы ворвались,

чтобы уничтожить его, оказалось, что у нас оружия нет. Вы спросите, почему? Потому что те, кто стоял во главе сионистской организации, а затем во главе правительства, не исполнили своего долга. Они занимались чем угодно, создавали разного рода социалистические, религиозные школы, будучи более всего озабочены своими партийными делами и тем, как удерживать в своих руках власть, — занимались чем угодно, но только не военными делами. И вот оказалось, когда начались военные действия, в Цфате у нас была только одна "Давидка", которая не столько обладала способностью стрелять, сколько создавать шум — каждый снаряд, вылетающий из нее, примитивный, летящий на короткое расстояние, производил вместе с тем неимоверный шум. Так вот, несколько таких "Давидок" перевозили с фронта на фронт и, если мы все-таки победили в этой войне, то это было чудо и к тому же были тысячи жертв. То же самое произошло и с алией. Перед тем, как она началась, было много разговоров, писали статьи и писали стихи на эту тему, и были митинги, а вот когда пришла алия, оказалось, что правительство было к ней совершенно не подготовлено. Я повторяю, о ней говорили, как о пришествии Мессии, но никто не предполагал, что Мессия придет такого-то числа и в таком-то часу. И потому об этом никто серьезно не думал и даже не желал говорить. Я помню, когда однажды, за два-три года до начала массовой иммиграции, на заседании Союза редакторов подняли этот вопрос, — то специально пришла Голда, чтобы просить нас не писать слишком открыто о Советском Союзе, потому что это-де принесет больше вреда, чем пользы, не писать вообще, что приехали первые евреи из СССР, потому что вдруг разразится скандал, а писать, что они приехали из Европы. Будто эти евреи могли приехать в Израиль против воли Советского правительства. Я был тогда единственным человеком в Союзе редакторов, который не согласился с этим. Я сказал, что, поскольку нет военной цензуры, я буду продолжать писать на эту тему. И что ж вы думаете — наложили военную цензуру на все материалы относительно положения советских евреев и их приезда в Израиль. Итак, к приезду массовой алии не были готовы. Вторая причина, а может быть, первая и глав-

ная, состоит в том, что прежняя власть вообще была властью неэффективной, — не только в области интеграции иммигрантов, она оставила нас неподготовленными и в целом ряде других областей — в экономической, военной... Было бы просто странным, если бы власть, продемонстрировавшая свою слабость во всех сферах жизни, оказалась вдруг страшно эффективной в области приема новоприбывших.

В. П е р е л ь м а н . И все-таки одно обстоятельство остается неясным. Верно, что абсорбция была не единственная область, где прежнее правительство потерпело крушение. Но, если в других областях — экономической, военной — все-таки были извлечены уроки, то в смысле абсорбции мы ничего подобного сказать не можем — та же чиновничья иерархия, те же люди, не понимающие психологии новоприбывших, то же недовольство, то же взаимное неприятие и непонимание. Г. Р о з е н б л ю м . Мне кажется, что вина обоюдная. До сих пор я говорил об ответственности Израиля и его руководства. Позвольте теперь сказать и о самих новых иммигрантах. Ведь приехало более ста тысяч человек — огромная сила. И я считаю, что если бы эти люди решительно пошли на то, чтобы переменить здесь обстановку, переменить атмосферу, в том числе изменить сам способ абсорбции, то сегодня картина была бы иной. Вместо этого начались взаимные распри и склоки среди новоприбывших. Вы, по-видимому, лучше знаете, что там творится. Вместо того, чтобы договориться между собой, объединиться, взять дело абсорбции в свои руки, они начали жаловаться, предъявлять бесконечные претензии. При этом, сразу же как приехали, они начали смотреть на себя как на людей одного лагеря, противостоящего лагерю старожилов. И, видите ли, люди из этого противоположного им лагеря постоянно обязаны были для них что-то делать, а они должны были только получать. Подход совершенно неправильный, с моей точки зрения. Вместо того, чтобы создать свою партию, партию новых олим, которая поставила бы своей целью добиться чего-то конструктивного — если можно убеждением, то убеждением, а если нельзя убеждением, то напором, — вместо всего этого, новые репа-

трианты разбились на многочисленные партии и группки, неспособные ничего сделать. И в этом смысле не только власть, но и они сами не выполнили своего долга. И в конце концов начали пожинать то, что сами посеяли.

В. П е р е л ь м а н . Я не думаю, что бремя вины за создавшееся положение власть и новоприбывшие несут в равной степени. Люди приехали из другого мира, лишенные почвы, с изломанной психологией, — можно ли с них спрашивать столько же, сколько с хозяев страны? Впрочем, я бы хотел здесь выделить одну, особенно болезненную, проблему — опыт показал, что провал абсорбции наиболее остро и тяжело переживала интеллигенция. Лучше в Израиле приживались люди, которые в прошлом были связаны с ремеслами, торговлей. Труднее всего пришлось писателям, ученым, художникам, кинематографистам. Среди них и относительно больший процент йордим, покинувших страну. Похоже, что неприязнь к новой алии, ощущавшаяся более всего в среде чиновничьего аппарата, сфокусировалась прежде всего на интеллигенции — она-то, может быть, благодаря привезенной ею с собой русской культуре, или благодаря образованию, или из-за боязни конкуренции с ее стороны, вызывала порой жгучую неприязнь у тех, кто, казалось бы, должен радоваться приезду в страну таких людей. Вообще, меня до сих пор не покидает ощущение, что правительственные круги Израиля, социалисты, в значительной степени уходящие своими истоками в русское и польское местечко, во многом способствовали проведению антиинтеллигентской политики. Это парадокс, не правда ли: Израиль, центр еврейской культуры — и вдруг, антиинтеллигентская политика. Но кто в течение многих лет оставался социальной базой старой власти, ее бессменными избирателями? Кого она более всех боялась тронуть? Чью деятельность она в первую очередь стимулировала? Не технических же специалистов, не ученых, не гуманитариев, которые, мне кажется, вообще не в большом почете в Израиле. Ее главной опорой, несмотря на высокие слова о рабочем движении, был и остается так называемый средний слой, непомерно раздутый в стране класс чиновников, которые во все времена, в силу испытываемого ими

комплекса неполноценности перед лицом интеллигентов, ненавидели их. Так вот, эту неприязнь и тупое равнодушие и ощутила на себе прежде всего интеллигенция, приехавшая из СССР, особенно тонко и остро воспринявшая пороки израильского общества, которые здесь вряд ли есть смысл перечислять. Есть еще одна болевая точка, и, поскольку вы ее коснулись, мне бы хотелось решительно вам возразить. Это та самая разобщенность, распри или, как вы сказали, склоки среди новых олим. Если кто-нибудь и действовал в направлении такого разобщения, так это многочисленные израильские партии. Это звучит, может быть, комично, но не Министерство абсорбции, а именно партии пытались завлечь и абсорбировать в своих рядах новых репатриантов. Конечно же, не во имя их блага, как и не для блага страны, а лишь во имя своих узкопартийных интересов, ради будущих голосов на выборах. Помнится, мне пришлось присутствовать на съезде выходцев из Советского Союза в Беер-Шеве. Многие в Израиле были буквально потрясены происшедшим там, когда столкновение между новыми репатриантами едва ли не дошло до рукопашной. Но кто стоял за кулисами? За кулисами стояли две основные партии, которые в азарте политической борьбы, по-моему, вообще забыли об интересах алии и в конце концов привели к срыву съезда. И так продолжалось годами. Пользуясь неподготовленностью новоприбывших в политическом смысле, партии разъединяли их, разжигали у них карьеристские настроения. Правящие партии здесь старались больше всего, хотя достигали меньше всего. Большинство иммигрантов были и остаются людьми, настроенными антисоциалистически. Но кого это интересовало? Министерство абсорбции традиционно находилось в руках МАПАМа, и это, конечно, не могло не давать себя знать в смысле взаимоотношений с новыми репатриантами. О какой же консолидации алии в этих условиях можно говорить? И как она могла выступить единой политической силой? Г. Р о з е н б л ю м . Ну, во-первых, я не считаю, что в стране существовали какие-то специальные антиинтеллигентские настроения. Просто состав алии мало соответствовал реальным потребностям израильского общества. Среди новоприбывших

почти не было рабочих, зато был большой переизбыток людей умственного труда. Кстати, если верить официальным данным, то и с абсорбцией большинства из них наше общество справилось даже лучше, чем, скажем, Соединенные Штаты. Я читал целую серию статей в "Новом Русском Слове" о том, как устраиваются новые иммигранты в Америке. В одной из них, например, рассказывается, как группа из тридцати или сорока человек явилась в некое государственное учреждение для того, чтобы там им подыскали работу. Приглашают одного, профессия? Инженер. Приглашают другого, профессия? Врач. Третий — кинооператор, четвертый — музыкант. И, наконец, когда дошла очередь до тридцатого или сорокового, пригласивший их на беседу чиновник воскликнул: "Господа, а нет ли среди вас кого-нибудь, кто умеет что-то делать руками?" И это — в Америке... Я думаю, что жалобы были на другой почве — квартиры не давали там, где люди просили, хотя квартиры в этих местах были, родителей селили в одном месте, а детей — в другом, хотя родители — старики, можно было их устроить там же. Не было вообще никакого плана приема и устройства новоприбывших. Нет его и до сих пор. Но повторяю: противостоять этому должны были сами новоприбывшие. Почему министром абсорбции должен быть обязательно человек, который никогда не был в России и не знает русского языка? Разве невозможно было найти подходящую кандидатуру среди новых репатриантов?

В. П е р е л ь м а н . Доктор Розенблюм, вы это серьезно? Вы не знаете, что новых репатриантов до последнего времени на пушечный выстрел не подпускали в Министерство абсорбции. Г. Р о з е н б л ю м . На это я вам могу ответить так: был у социалистов-революционеров в России прекрасный лозунг: "В борьбе обрешь ты право свое..." Кстати, почему мы только и слышим о русской алии? Из коммунистической Румынии за последние тридцать пять лет прибыло четыреста тысяч человек. Отчего нет никаких претензий с ее стороны? А ведь в этой алии было также много интеллигенции, но она как-то вошла в жизнь Израиля. Однажды я был в Акко. Зашел на старый арабский рынок, вижу сидит там какой-то еврей, продает среди арабов какие-то вещи. Спрашиваю: "Кто вы такой, от-

куда приехали?" Отвечает: "Из Румынии, из Бухареста. У меня был там магазин на центральной улице. Приехал сюда — не мог найти работу. А потом начал торговать среди арабов, в общем устроился". И вот румынские евреи, к которым вначале относились с неприязнью, теперь — самый желанный элемент. Всякая эмиграция — это ломка. Надо ломаться. Даже если тут будет самое лучшее правительство, ломка останется. Ломка в языке. Ломка в укладе. Я знаю, например, людей из Советского Союза, которые и устроились, и имеют прекрасные квартиры, и никаких у них забот, а чувствуют себя все-таки неважно, потому что у них нет контакта со старожилами, они не могут говорить на иврите, а если говорят, то так, что люди не хотят им отвечать — это только нервнует.

В. П е р е л ь м а н . Мы все, конечно, очень рады, что за судьбу румынской алии можно не волноваться. Ну, а как же все-таки быть с иммиграцией из России? Из уст политических деятелей всем нам не раз приходилось слышать, что алия так же важна, как оборона страны. Но когда видишь, что делается на практике, то задаешься вопросом: чего в этих словах больше — ханжества или политической спекуляции: Меня не покидает ощущение, что и по сей день никто по-настоящему не заботится о притоке иммигрантов из России. А есть лишь одни слова. Слова, слова, побрякушки слов...

Г. Р о з е н б л ю м . Ваши ощущения вас не обманывают. Можно было сделать очень много для увеличения алии из России, но не делается. И не использовались все возможности. Вот только один пример из многих. Вспомните поправку Джексона. Сенатор Джексон поставил вопрос так: дать России то, что она хочет от Америки, но в качестве возмещения Россия должна предоставить евреям свободу выезда в Израиль. И Россия согласилась бы. Ей нужен был американский хлеб и техническая помощь Соединенных Штатов. И та прагматическая власть, которая существует в СССР, безусловно, приняла бы американские условия. Но евреи, и прежде всего евреи Соединенных Штатов, не поддержали Джексона. Они же могли придать ему крылья, но вместо этого не оказали никакой помощи. Его не поддержали даже евреи его собственной де-

мократической партии, и он вынужден был снять свою кандидатуру на президентских выборах. Словом, заплатили, так сказать, злом за добро.

В. П е р е л ь м а н . Вы правы, с поправкой Джексона произошла поразительная история. Вы не можете себе представить, с каким энтузиазмом встретили ее евреи в России. Я сам читал, будучи еще в Москве, речь Джексона в Сенате и думал: "Вот, наконец, найден мощный рычаг влияния на власти в СССР". Но выяснилось, что Джексон хотел свободную эмиграцию больше, чем сам Израиль. Здесь заботились скорее о том, чтобы не создавать вокруг его "поправки" шума, нежели о том, чтобы ее утвердил Конгресс. И все это, конечно, не случайно. Сработал все тот же механизм, все та же местечковая психология тех, кому была вверена судьба алии: "Мы-де, страна маленькая, и не нам тягаться с Советским Союзом". Сами себе не решались признаться в том, что не хотят и бояться большой алии. Это с одной стороны, а с другой — мне до сих пор кажется, что у политических деятелей МААРАХа и особенно МАПАМа где-то в подсознании все еще живет "сантимент" к Советскому Союзу. Все-таки, какой-никакой, а социализм — пусть трижды искореженный Сталиным, — но идеи-то, в основном, светлые, социалистические, одно слово — СССР... Вот так и получилось, что не где-нибудь, а здесь, в Израиле, возникло главное препятствие на пути алии, граничащее, если хотите, с предательством по отношению к сенатору Джексону. И вся эта история еще раз подводит к вопросу, с которого я начал. А хотел ли вообще Израиль, чтобы Советский Союз раскрыл ворота для еврейской эмиграции?

Г. Р о з е н б л ю м . Я думаю, что теперь создалась иная ситуация. Новое правительство вряд ли можно заподозрить в симпатиях к СССР или к социализму. Да и вообще, оно куда ближе к проблемам алии, чем правительство МААРАХа. Но и теперь, вероятно, потребуется давление со стороны самих новых иммигрантов, чтобы борьба за массовую алию приобрела такой размах, которого требуют и интересы евреев СССР и самого Израиля. Я бы сказал так: приход к власти

нового руководства означает, что в этом смысле появился новый шанс, и этот шанс нельзя упустить.

В. П е р е л ь м а н . Хотелось бы разделить ваш оптимизм и я также думаю, что с приходом нового правительства откроются новые возможности. Но согласитесь, что никаким, даже самым умным решением самой умной власти нельзя вторично всколыхнуть энтузиазм десятков тысяч людей, свидетелями которого мы все были в начале семидесятых годов. Я уже об этом писал, что тогда пальцами показывали на тех, кто, минув Израиль, из Вены направлялся в Рим. Сейчас таких больше половины, и "ненормальными", "чужаками" называют тех, кто едет в Израиль. И это не результат усилий КГБ — оставим это ханжество для функционеров Сохнута. Это результат усилий, исходящих отсюда. О шансе, который есть у новых иммигрантов, конечно, говорить можно. Но как изменить положение, пока ни правительством, ни Кнесетом не сделаны настоящие выводы? И в каком направлении действовать, лично я не знаю...

Г. Р о з е н б л ю м . А я бы хотел поделиться некоторыми соображениями по этому поводу. Дело в том, что я в принципе считаю неправильным тот путь, по которому идет алия из Советского Союза. По вполне понятным причинам многие евреи хотят покинуть СССР, но как это делается? Израильского посольства в Москве нет, и те, кто хочет уехать, подают прошение в ОВИР. Иначе говоря, в КГБ. И именно КГБ устанавливает, кому уехать, а кому оставаться в Советском Союзе. Те, кого отбирает КГБ, направляются в Голландское посольство, и им автоматически выдаются визы в Израиль. Затем они уезжают с этими визами — каждый куда хочет, прибывают в Вену и тут избирают свой дальнейший путь. И так более пятидесяти процентов рассеиваются по всему миру. Остальные приезжают пока сюда, что будет дальше, я не знаю, может быть, двадцать процентов будут прибывать в Израиль, а восемьдесят рассеиваться по миру. Я считаю этот способ неверным. Это первый случай в истории, когда одному государству дается право выдавать визы в другое государство, не получая при этом его согласия. Разве можете вы, например, себе представить положение, при котором

советское правительство будет иметь право выдавать кому угодно, например, голландские визы. Голландия скажет: "Позвольте, визы в Голландию выдает голландское правительство, а не вы". И это естественно. Визы в Австралию выдает правительство Австралии, в Канаду — правительство Канады и т.д. Повторяю, это единственный случай в мире, когда Советский Союз выдает визы для въезда в другое суверенное государство, в Израиль, а мы не имеем даже права вмешаться, а иногда даже не знаем, кому он выдает визы. Я не считаю, что необходимо хоть как-то ограничить выезд евреев из СССР — пусть каждый едет куда он хочет, но... по визам тех стран, куда он намерен эмигрировать. Если человек хочет ехать в Австралию, он должен стараться получить австралийскую визу, если он хочет ехать в Америку, или Канаду, или Мексику, он должен получить визы этих стран. Но не может быть такого случая, чтобы он получал израильскую визу для того, чтобы поехать на Огненную Землю. А, между прочим, эти самые прямые, растекающиеся по всему свету, нас даже не обманывают. В Сохнуте мне рассказывали, что туда пачками прибывают письма из Советского Союза, в которых люди откровенно пишут: "Мы хотим ехать в Мексику, или ехать в Австралию, просим выдать нам израильские визы..." И им выдаются израильские визы. Таким образом, Израиль сознательно фальсифицирует положение, посылает фальшивые вызовы людям, о которых заранее знает, что они поедут в другие страны. Не приходится удивляться, что в эту фальшивую игру включаются и власти СССР, официально выдающие визы на выезд в Израиль. Евреев всегда обвиняли в том, что они занимаются фальсификацией, всякого рода нечестными делами на биржах, в торговле, в коммерции, а тут само еврейское государство как бы подтверждает эту тезу антисемитов всех стран и времен, давая возможность Советскому Союзу, а иногда толкая его на то, чтобы выгонять евреев из России и обманывать власти СССР. Не сегодня-завтра нас прямо обвинят в этой фальшивой игре. Вывод? Люди, которые хотят ехать в Америку, должны просить американскую визу. Это трудно, но нет другого пути. Я не говорю, что мы должны мешать

выезду евреев из СССР в страны рассеяния. Мы должны помогать всем бегущим из России, но не с помощью фальшивок. И если, скажем, советские евреи будут добиваться у американского или иного правительства визы для того, чтобы спастись от антисемитизма, мы должны помочь им, поскольку обладаем достаточным влиянием в мире.

В. П е р е л ь м а н . Простите, но я не совсем понимаю вас. Если смотреть на проблему с точки зрения национальных интересов Израиля, исполненного желания, чтобы все евреи, желающие эмигрировать, ехали сюда, то с вами трудно не согласиться. Но есть еще и общечеловеческий аспект, и тут перед Израилем стоит жестокая альтернатива: что лучше, что предпочтительнее, чтобы евреи уезжали из Советского Союза — пусть даже не в Израиль — или, чтобы они оставались там под властью антисемитского тоталитарного режима. Третьего не дано. Я предпочитаю любой ценой их спасение, их отъезд, а то, что предлагаете вы, заключает в себе, пусть косвенное, но все-таки ограничение свободы этих людей. Тем более мы ведь уже с вами признали, что многие из них ушли от еврейства, от сионизма так далеко, что вряд ли смогут одной только акцией приезда в Израиль вернуться к нему.

Г. Р о з е н б л ю м . Верно то, что я подхожу к проблеме с сионистской точки зрения и считаю, что иной она не может быть. Всю свою двухтысячелетнюю историю евреи скитались, и вот, наконец, у них появился свой национальный очаг, свое собственное государство, прошедшее сквозь такие страдания и муки, рожденное в огне войн, ценой, которая оплачена тысячами жизней наших братьев, — так что же, теперь это государство своей политикой должно способствовать дальнейшему рассеянию и скитанию евреев? Евреи всегда скитались по всему миру, переезжали из государства в государство, от чего наше положение не исправлялось, а только ухудшалось. Неужели мы должны этому процессу еще и способствовать? Какими интересами мы в этом случае должны руководствоваться — космическими или своими национальными? Вот вопрос, который требует ответа.

В. П е р е л ь м а н . Скажите, а какими интересами руковод-

ствовался американец сенатор Джексон, выступая в защиту советских евреев? А что толкнуло академика Сахарова идти вместе с евреями на демонстрацию к Ливанскому посольству, протестуя против убийства наших спортсменов в Мюнхене? Просвещенные люди и народы никогда не проходили мимо страданий евреев. Так отчего же мы должны остаться равнодушными? Оттого только, что, стремясь расстаться с советским режимом, принеся им столько несчастий, они не хотят ехать в Израиль? Не унижительно ли для самого нашего государства выдвигать приезд в Израиль как условие их спасения? Я уже не говорю о том, что, находясь в России, они вообще не располагают необходимой информацией о жизни за границей, чтобы уже там принять свободное решение. Г. Р о з е н б л ю м . Но и я говорю, что они не располагают такой информацией и, в частности, информацией об Израиле. Поэтому, когда я предлагаю, чтобы визы уезжающим из Советского Союза выдавал Израиль, — я думаю лишь о том, чтобы эти люди, как минимум, приехали сюда, чтобы посмотреть, что это такое, и уже здесь принимали решение — оставаться им или уезжать, здесь, а не в Москве, Ленинграде или Киеве, где они ничего не знают об Израиле и, априори не желая сюда ехать, пользуются тем не менее фальшивыми визами для выезда из СССР. Словом — я за эксперимент. Это все-таки лучше, чем спокойно взирать на то, как евреи один галут сменяют на другой.

В. П е р е л ь м а н . Все мы за то, чтобы они приезжали в Израиль, и сейчас я, кажется, выскажу соображение, с которым согласитесь и вы — сам Израиль должен обладать большей привлекательностью, большей притягательной силой для евреев галута — а это уже зависит от всех нас, не правда ли?

ANDREI SEDYCH
Editor in Chief

LAWRENCE WEINBERG
Business Manager

Novoye Russkoye Slovo

Oldest Russian Daily - Established 1410

243 WEST 56th STREET
NEW YORK, N. Y. 10019

М. Г.

Tel. COlumbus 1-3300

Подписываясь на газету будьте добры послать нам денежный перевод на сумму заказа. Просим об этом, чтобы облегчить нашу работу и ускорить оформление подписки.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Ежедневное и воскресное издание:

Год — \$50.00; 6 мес. — \$28; 3 мес. — \$17; 1 мес. — \$6.00

Ежедневное издание только:

Год — \$45.00; 6 мес — \$25.00; 3 мес — \$15.00.

Воскресное издание только:

1 год — \$20.00; в месяцев — \$12.00

Заграничная подписка принимается только на

1 год — \$60.00; 6 месяцев — \$35.00

Только воскресное издание для заграницы

1 год — \$25.00; 6 месяцев — \$15.00

— Перемена адреса 1 доллар —

**Заграничная подписка воздушной почтой
в страны Европы и Латинской Америки**

Ежедневное и воскресное издание:

1 год — \$150.00; 6 месяцев — \$90.00

Воскресное издание только:

1 год — \$75.00; 6 месяцев — \$40.00

Отправка газеты в страны Азии, Африки и Австралии

Ежедневное и воскресное издание:

1 год — \$180.00; 6 месяцев — \$100.00

Воскресное издание только:

1 год — \$85.00; 6 месяцев — \$45.00

Подписные деньги посылайте наличными в заказном письме, чеком или почтовым переводом (Мони ордер) простым письмом.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД — НОВАЯ ОЦЕНКА

Заметками Леонида Геллера о творчестве Ивана Ефремова мы начинаем цикл статей о наиболее интересных и примечательных явлениях советской литературы. Многие из того, к чему редакция будет обращаться, прочитано в прошлом. Многие были предметом острых, нестихающих дискуссий, выдававших извечное пристрастие российского читателя к своей литературе, к лучшему, что создавалось ею и находилось вне поля зрения критики. Либо извращалось ею. Либо оказывалось под шквалом огня, извергаемого из всех амбразур партийной прессы. А между тем даже в самые мрачные годы советского режима русская литература не оскудевала на таланты. Лучшими из ее представителей поднимались пласты жизни, проникнуть в которые не могла, да и не вправе была официальная критика. Ее критерии, вытекающие из "самого передового в мире" метода социалистического реализма, чаще всего не имели вообще отношения к истине. Из этого разрыва критики и литературы, нам кажется, и возникает насущная потребность заново оценить некоторые литературные явления — но на этот раз уже взглядом людей, живущих в свободном мире.

Леонид ГЕЛЛЕР

МИРОЗДАНИЕ ИВАНА ЕФРЕМОВА



Я НА ЛЕСТНИЦЕ ЧЕРНОЙ ЖИВУ

Путь Ивана Ефремова в литературу не был обычным. Писатель, совершивший переворот в советской научной фантастике, был ученым — одним из крупнейших в своей области. С конца 20-х годов он занимался геологией и палеонтологией, изъездив в экспедициях Сибирь, Среднюю Азию, Монголию. Он создал на границе между двумя науками новую, названную им "тафономией" и изучающую закономерности отложения в земной коре ископаемых животных и растений.

Предшественниками Ефремова в русской научной фантастике были Циолковский и географ академик Обручев. Циолковский писал малохудожественные очерки, пропагандировавшие его проекты. Обручев же написал в 20-е годы два хороших романа для молодежи: "Плутонию" и "Землю Санникова". Его целью было дать любознательным подросткам достоверную палеонтологическую и этнографическую информацию, исправив фактические ошибки, совершенные Жюль Верном.

Ефремов принялся писать по другим причинам. Страдая,

как каждый ученый, от невозможности подкрепить фактами некоторые свои интуитивные догадки, он решил однажды — во время болезни, оторвавшей его от научных занятий, — "осуществить давнее намерение — изложить несколько своих гипотетических научных идей в форме коротких новелл"*.

Так вошел в научную фантастику писатель, собравшийся додумывать свои идеи в литературе.

Первые две повести Ефремова — о самом отдаленном прошлом, одна — "Путешествие Баурджеда" — из эпохи, отстоящей от нашей на пять тысячелетий, о древнем Египте; другая — "На краю Ойкумены" — об Элладе X—IX века до нашей эры.

В "Путешествии Баурджеда" молодой фараон Джедефра решает прославиться исправлением бед, принесенных недавно умершим Хеопсом. Ценой тысяч жизней и всех богатств Египта была им построена гигантская пирамида. По совету жреца Тота — бога знания — фараон посылает своего казначея Баурджеда на поиски легендарной страны Пунт. Тем временем, в Египте разгорается ожесточенная борьба между жрецами. Молодого фараона убивают, его брат садится на трон, и на страну снова обрушивается гнет тирании. Разумеется, никому больше не нужны чудесные открытия Баурджеда, совершившего небывалое путешествие вокруг Африки. В финале опальный Баурджед бежит из Египта, освобождая из каменоломен своих товарищей по странствиям. Те, однако, отказываются бежать и возглавляют восстание рабов против тирании. Баурджед исчезает, но память о его великом путешествии остается жить в народе.

Повесть построена на одном принципе: столкновения противоположностей. Размеренная, не меняющаяся веками жизнь Египта, и бурное, полное приключений путешествие в сказочные страны.

Монументальная архитектура — символ и характерная черта деспотизма. Перед ней человек превращается в жалкое насекомое. На египетских фресках люди нарисованы не достигающими колен фараона.

В 1923 году в статье "Героизм и гуманность" О. Мандельштам писал: "Бывают эпохи, которые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно использовать, как кирпич,

как цемент... Социальная архитектура измеряется масштабом человека. Иногда она становится враждебной человеку и питает свое величие его унижением и ничтожеством". Примером такой "социальной архитектуры" для Мандельштама был Египет. То же думает о Египте и Ефремов.

Но так же, как Мандельштам, он думает и говорит не просто о Египте.

Первая же сцена повести вводит нас в атмосферу, хорошо знакомую современникам Ефремова, — атмосферу всеобщего страха. Мы наблюдаем бегство преступника, названного властями "врагом города". Беглец невиновен, но толпа преследует его в эвфорическом возбуждении. После погони толпа сразу же распадается; у себя дома, в кругу близких все говорят осторожным шепотом.

В Египте ли это происходит?

Или, может быть, в Ленинграде, где жил Мандельштам, писавший о своем страхе стихи:

**"Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных".**

Через два тысячелетия после путешествия Баурджеда в Египет попадает греческий скульптор Пандион. Он становится рабом фараона. Снова человек сталкивается с тиранией, и на этот раз речь идет о человеке-художнике.

Главный вопрос следующей части исторической дилогии, повести "На краю Ойкумены", — взаимоотношение тирании и художника, деспотического государства и искусства.

В Египте Пандиона поражает неподвижность, гигантизм египетских произведений искусства. Он начинает мечтать о творениях, "которые не угнетали и давили бы человека, а, наоборот, возвышали". Искусство, которое служит государству, угнетающему человека, само становится орудием угнетения, а художник — одним из угнетателей.

На поставленный вопрос о художнике и власти — вопрос, мучивший многих русских и советских писателей, — Ефремов дает тот же ответ, что и лучшие из них. Высший долг худож-

ника он видит в открытом утверждении правды об окружающем мире, в сопротивлении тирании.

Такой ответ в такое время требовал поразительной смелости.

Уже в самом начале своей литературной работы Ефремов показывает себя писателем, сопротивляющимся гипнотическому влиянию идеологии, независимым и проницательным в своих выводах. Ефремов был писателем оттепели задолго до оттепели.

МАТЕРИЯ ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ

В исторических повестях Ефремова главный прием — контрасты. Контрастными положениями и образами Ефремов вводит динамику и напряжение в повествование. Он дает почувствовать универсальность этого принципа столкновения противоположностей. В Египте предметы получили власть над людьми, а люди уподобились предметам, где всецело царит гнетущая неподвижность.

История может конкретизироваться в жизни людей через идею государственности, и тогда возникает то, что в своем последнем романе Ефремов называет "круговыми цивилизациями", — деспотии, замыкающиеся в себе, останавливающие время, отрывающиеся от природы, достигающие вершин могущества ценой гибели и страданий людей. И возможен другой уклад — свободный и индивидуалистический, основанный на общении с внешним миром, на постоянных поисках нового. Эти две тенденции проявляются во все эпохи и в любом месте земного шара. Между ними идет вечная борьба.

Естественным, казалось бы, — по законам марксистской диалектики — представить первую из них как некий тезис, вторую — как антитезис, и рассматривать идеальное общество (описанное в "Туманности Андромеды") как синтез, преодоление антагонизма. Это, конечно, не так: в книгах Ефремова нет никакой диалектики, хотя говорится о ней много и с энтузиазмом. В "Туманности Андромеды" мы видим общество XXX века. В нем нет ничего от Египта и есть все от Эллады.

Это не синтез. Просто одна тенденция, светлая и добрая, торжествует над другой, темной и злой, которая в реальной истории постоянно одерживала верх.

Понимание истории у Ефремова не диалектическое в марксистском смысле, а манихейское.

И так же, по-манихейски, он толкует все, что происходит во Вселенной. Прочитируем отрывок из "Звездных кораблей".

"Жизнь... горит крохотными огоньками где-то в черных и мертвых глубинах пространства. Вся стойкость и сила жизни — в ее сложнейшей организации, приобретенной миллионами лет исторического развития, борьбы внутренних противоречий, бесконечной смены устаревших форм новыми, более совершенными. В этом сила жизни, ее преимущество перед неживой материей, косно участвующей в космических процессах, не претерпевающей великого усложнения и усовершенствования".

Ход мышления Ефремова обратен официально установленному. Решительно и многократно он подчеркивает, что мертвая материя никогда не усложняется, не меняется, ее основное качество — именно отсутствие всякого движения; и тем самым жизнь отнюдь не возникает вследствие развития мертвой материи.

Картину мироздания Ефремов пишет с размахом, достойным бешеной фантазии Ван Гога или Хайнлайна.

Вселенная, сказано в "Часе Быка", имеет спирально-геликоидальную структуру. Она не замкнута на себя, а размаывается в вечность. Но материя в ней анизотропна: наш мир переслаивается с миром, полярно противоположным и асимметрично сдвинутым по сравнению с нашим. Это мир антиматерии. Между мирами существует граница — нуль-пространство, — где их полярные свойства уравниваются (в нуль-пространстве, кстати, и движутся звездолеты по принципу, изобретенному учеными из "Туманности Андромеды"). Антимир не воспринимается нашими приборами. Его существование познано лишь теоретически. Должны как будто создаваться специальные приборы для его исследования, но их предназначение читателю не ясно: ни выхода из антимира,

ни входа в него нет. Самое интересное здесь то, что антимир — это черный мир, и называется Тамасом, по имени океана энтропии в древнеиндийской философии. Наш же мир светлый, он также несет древнеиндийское имя — Шакти. Это мир жизни и разума. Так, вся Вселенная окрашивается для Ефремова в черный и белый тона.

Дуализм Ефремова полный — перехода между Тамасом и Шакти нет, никакого эволюционного перехода от мертвой к живой материи тоже нет. Материя рождает жизнь чудесным образом, случайно, затем из живой материи развивается мысль, которая познает весь мир, — это заколдованный круг, и Ефремов находит для него адекватный символ, образ змеи, вцепившейся в собственный хвост. Змея символизирует вечность, в которой постоянно присутствуют враждебные себе силы Жизни и Смерти, Энергии и Энтропии, Добра и Зла.

ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ

В 1963 году вышел в свет новый роман Ефремова "Лезвие бритвы" и удивил всех — и читателей и критиков. Роман был задуман как экспериментальный. Очень много места в нем занимает научная информация и комментарии к ней. В нем сталкиваются три сюжета — история советского врача и философа Гирина, история индийского художника, проходящего путь высшего познания в Индии гуру, монастырей и божественной архитектуры, наконец, происхождения группы молодых итальянцев, отправившихся собирать алмазы на берегу Африки. Критика встретила роман очень прохладно. И верно, приключения "в хагардовском вкусе" невыразимо скучны, а научные рассуждения в книге зачастую имеют мало общего с наукой. Но не это вызвало недовольство. В романе идет речь о сущности современного человека — тема, требующая тонкого подхода в советской литературе. Но Гирин, главный герой и рупор писательских взглядов в романе, отличается не слишком ортодоксальной позицией.

В молодости Гирин вылечил женщину, страдавшую полным параличом — она видела, как белобандиты убили ее мужа. Гирин инсценирует нападение на дочь этой женщины, и

под влиянием шока она выздоравливает. С тех пор Гирин изучает законы, по которым "древние инстинкты, с одной стороны, и общественные предрассудки — с другой, преломляясь в психике, влияют на физиологию".

В методе лечения, в характеристике законов нам чудится нечто знакомое. Гирин не медлит подтвердить первое впечатление. Читая лекцию по эстетике, он утверждает: наше чувство человеческой красоты — не что иное, как инстинкт полового отбора, закодированный в наших генах в то первобытное время, когда главной задачей человека было продление рода. Огромный опыт доисторического существования человечества, запечатленный в наследственной информации, — это подсознание человека, играющее огромную роль в его восприятии мира.

Но половое влечение, прямо или косвенно определяющее наше поведение, подсознание, противостоящее сознательной деятельности, — это же Зигмунд Фрейд, пребывавший под строжайшим запретом в течение десятилетий и не реабилитированный по сей пору.

Ефремов не принимает фрейдовскую теорию без оговорок. Он ни словом не упоминает, например, об Эдипе, о комплексе кастрации и т.д. Зато он говорит о силе полового созревания как о "величайшей кондиционирующей силе организма" (называя ее индийским термином Кундалини). Он утверждает, что все богатство человеческой психики зависит от "постоянной эротической остроты чувства", ибо такова присущая человеку "биохимия".

Вообще трудно установить, что происходит в подсознании согласно Ефремову. В "Лезвии бритвы" часто говорится о темных силах, в "Таис Афинской" — о "тьме первобытных чувств", о "хаосе" и таинственных "вихрях". Ефремов предпочитает не присматриваться. Тем не менее, направление его мыслей ясно.

Во-первых, для него очевидно, что Фрейд ошибался, отказываясь учитывать действие социальных инстинктов. Но, уходя от классического психоанализа, Ефремов не пристаёт к марксистскому берегу. Его "социальная эксцентризация" —

пользуясь модным выражением — имеет мало общего с толкованиями тех западных марксистов, которые признают психоанализ, и еще меньше — с трактовкой общественного сознания в официальной доктрине. "Дикая жизнь человека, — тут Гирин поднял ладонь высоко над полом, — это вот, а цивилизованная — вот, — он сблизил большой и указательный пальцы так, что между ними осталось около миллиметра",

Примитивные инстинкты постоянно прорываются наружу. Даже в обществе ХХХ века, основательно вычищенном с помощью евгеники и неусыпного генетического надзора, есть люди, поддающиеся их влиянию. Цель сознательных действий общественного человека состоит в удержании равновесия на "лезвии бритвы" между темными подсознательными силами и сознанием. Такая модификация фрейдизма как нельзя лучше входит в рамки ефремовской метафизики. Похоже, что фрейдистская схема функционирования психики нужна Ефремову лишь для того, чтобы поставить на "научные" ноги свое убеждение о борьбе Зла с Добром в человеке.

Все это очень не нравится ортодоксальным критикам. Даже если они закрывают глаза на совпадения ефремовской психофизиологии с буржуазными теориями, им мешает сама суть дела. "Ефремов все время предупреждает: оно (лезвие бритвы — Л.Г.) опасно, зыбко и в любую минуту может сдвинуть нас в пропасть подсознания. Предупреждения эти звучат угрожающе. Они превращают нас в балансеров на тонком канате, ставят под власть какой-то черты, переступив которую, мы перестаем быть людьми. Мы не хотим этого"* . Критикам не нужны никакие черты. Ходить по лезвию бритвы трудно и неудобно. Да и зачем, если известно, что существует новый, коммунистический тип человека, ничем не ограниченный, "цельный, безо всяких низменных начал".

* И. Золотусский. Ценность эксперимента, Москва, 1964 № 4, стр. 215

ДИФИРАМБЫ ЭРОСУ

И еще одно смущает критиков Ефремова до такой степени, что они, словно по уговору, обходят молчанием бросающуюся в глаза особенность его творчества. В утопическом обществе "Туманности Андромеды" упразднен институт семьи — свободная любовь управляет взаимоотношениями всех героев. Только Ефремов осмелился поднять руку на священную первичную ячейку общества, и, славословя "Туманность", все рецензенты уговаривают писателя внять цитатам из Энгельса и отказаться от своего досадного заблуждения. Однако, уговоры не действуют. Ефремов осуждает современную советскую литературу за ханжество, яростно высмеивает ее.

В программной статье, которая может служить ключом к большинству его произведений, он пишет: "Стоит герою увидеть героиню в какой-то степени обнаженности, как он теряет голову, впадает в дикую страсть, получает по физиономии и погибает в мнении героини и читателя... Для контраста... такому бешеному отрицательному герою противопоставляется положительный, у которого нормальное влечение к женщине настолько задавлено волей авторов, что они, глядя на героиню, не смеют опустить глаза ниже ее подбородка или поднять выше колен!"

Эротике выведенной из подземелья примитивных чувств, приберегается ключевая роль в ефремовской концепции.

Ефремов преклоняется перед женщиной. В "Таис Афинской", где это преклонение превращается в боготворение, женщины показаны лучше, сильнее, мудрее мужчин. После воцарения мужских богов, говорит Ефремов, "беспокойный самоуверенный мужской дух заменил порядок и мир, свойственный женскому владычеству". Жизнь на Земле стала хуже. "Непрерывные войны, резня между самыми близкими народами — результат восшествия мужчины на престолы богов и царей". Духовный упадок — неизбежный результат подчиненного положения женщины в обществе. Уровень развития общества можно измерять степенью свободы в нем женщины. Разлад между мужским и женским началом

пошел с тех пор, когда люди стали больше верить созданным ими орудиям и машинам, чем самим себе, оторвались от природы, ослабили свои внутренние силы. Женщина больше сохранила себя, в ней разум не подавляет памяти и чувств, она связана с миром, потому-то в ней воплощен творческий дух, она может вдохновлять поэтов и философов.

Ефремовские дифирамбы Эросу — необычное явление на фоне пуританской до мозга костей литературы соцреализма.

В то же время гносеологическая роль, отведенная эротике, связана в творчестве Ефремова с поворотом его философии в сторону нового источника — индийской мудрости.

В "Лезвии бритвы" есть две сцены — два больших разговора о религии: первый о христианстве, полный негодования, второй — апологетический — об индуизме. Гирин говорит о христианстве, рассматривая музейный экземпляр знаменитого "Маллеус maleficarum". Свою речь он начинает словами: "Слишком велика моя ненависть к этому позору человечества, и я никак не могу подняться на высоту спокойного и мудрого исследования прошедших времен". Так, говоря же об индуизме, Гирин подчеркивает: "Я никого не вправе ни осуждать, ни порицать. Я только искатель научной истины, знающий, что истина зависит от обстоятельств места и времени".

ЗАПАД И ВОСТОК

Откуда такая разница? Почему Гирин неспособен спокойно отнестись к средневековью и христианству, которые тоже могли бы претендовать на свою, объяснимую обстоятельствами места и времени, истину? Ответ мы получаем неожиданный, но вполне совместимый с тем, что мы уже знаем о взглядах Ефремова: "Перед мысленным взором Гирина пронесли солнечные берега Эллады — мира, преклонявшегося перед красотой женщины, огромная и далекая Азия с ее культом женщины-матери... и все застлал смрад костров Европы". Гирин ненавидит христианство наподобие рыцаря, защищающего честь Прекрасной Дамы, невинно осужденной и заточен-

ной в застенках инквизиции. Это благородно, но не вполне научно.

Вообще Ефремов — убежденный атеист, то есть, пользуясь языком Бердяева, маркионист, видящий лишь зло, принесенное официальной религией. Христианство он отождествляет с историческим католицизмом. Быть может, аналогии между политикой римско-католической церкви и политикой сталинского государства заставляют Ефремова с еще большей ненавистью относиться к христианской религии.

А между тем, Ефремову необходима религия — так или иначе понимаемая духовная традиция, с корнями, запущенными в далекое прошлое, способная дать опору человеку в борьбе с его примитивным подсознанием. Такую опору он находит через голову христианства и иудаизма в Элладе. Но его не удовлетворяет возврат к естеству, он ищет более глубокий, более метафизический подход — и призывает на помощь Индию. Индию, где эротике придается сокровенный, мистический смысл, где тысячелетиями испытываются пути к познанию глубин человеческой души и скрытых сил человеческого тела.

И Гирин, и индусский художник, герой параллельного сюжета "Лезвия бритвы", преследуют одну цель. Первый идет к совершенству, пользуясь научными методами, рациональным анализом и синтезом, второй — следуя древним тантрическим ритуалам. Казалось бы, несовместимые пути. Но в финале книги индусские мудрецы с почетом встречают Гирина и присваивают ему титул брахмана.

Существуют две дороги познания — Запада и Востока, европейская наука, изучающая физический мир, и индийское откровение, доступное углубленному в себя йогу. Обе дороги ведут к тому же, обе они несовершенны: первая отрывается от природы, от интуитивного понимания, вторая — удел лишь самых сильных, чужда "среднему" — читай: реальному — человеку.

И Гирин предлагает единственное правильное решение: нужно идти по лезвию бритвы между двумя дорогами, между западной и восточной мудростью. Гирин признает необъяснимость и самостоятельность высших разделов йоги, "путей

владычества над нервно-психическими силами и силами экстаза, прозрения и соединения с океаном мировой души".

Идея прозрения прочно входит в философию Ефремова. В "Часе Быка", где писатель показывает людей будущего, соединивших западную и восточную мудрость, сказано, что возможно такое познание мира, для которого нужны "три шага: отрешение, сосредоточение и явление познания". Это-формула соединения внутренних сил человека с "мировой душой". Ефремов не называет это мистицизмом, но на то он и материалист. Он даже надеется когда-то найти рациональное объяснение такому соединению. Но вот что важно: человек в его понимании перестает соотноситься с миром посредством общественных отношений. Он становится самостоятельной ценностью, независимым индивидом, развитие которого обеспечивается правильным общественным устройством, но зависит почти исключительно от него самого, от силы самоуглубления.

Писатель всячески подчеркивает, что мудрейший из мудрейших Гирин — русский. "Такое русское имя и весь облик, дисциплина и точность во всех движениях, мыслях, сдержанная речь, глубокий голос" — таким он описан в книге, и так воспринимается индусами. Ни один из многоопытных гуру не удостоивался такого внимания, как никому не известный пришелец из России. Гирин представляет собой все лучшее в русском народе, в России. Профессор-индус, порицая западную цивилизацию, говорит: "Я не знаю России, но думаю, что вы, стоя между Западом и Востоком, взявшись за переустройство жизни по-новому, вы — другие". В сказанном интересно и то, что, не зная России, профессор убежден в ее превосходстве над Западом, и то, что это превосходство объясняется положением страны на границе двух разных культур. Честь синтеза должна принадлежать не ученым брахманам, а русскому философу. Первой по лезвию бритвы пройдет не какая-нибудь другая страна, а Россия.

ТЯЖЕСТЬ ПРОШЛОГО

Жизнь — светлое начало во Вселенной. Но в ней самой скрывается зло: все живое обречено на гибель. Главный принцип всякой эволюции — п р и н ц и п и н ф е р н а л ь н о с т и . Живая материя усложняется в адских муках. Эволюция жизни на Земле — "страшный путь горя и смерти", — утверждает писатель в "Часе Быка". Слепая природа, направляя свое развитие к усовершенствованным формам, все более независимым от окружающей среды, поступает как игрок в кости: добывается результата несметным количеством бросков — а за каждым из них стоят миллионы погибших жизней.

Человеческая жизнь — то же инферно, только двойное: для тела и души. Чем совершеннее чувства, разум — тем больше страдания отпущено понимающему неизбежность смерти человеку.

Бессмысленность жизни в том, что существует смерть. Ефремов испытывает ужас перед смертью.

В "Туманности Андромеды" был такой эпизод. Задумавшие опыт с нуль-пространством Мвен Мас и Рен Боз приводят аргументы в пользу проведения этого опыта, несмотря на его опасность. Рен Боз говорит о непреодолимости пространства, разделяющего разумные миры, не позволяющие им слиться в одну семью. Преодоление пространства даст возможность человечеству подняться на еще высшую ступень власти над природой. Поэтому "каждый шаг на этом новом пути важнее всего остального". Рассуждение Рен Боза направлено в будущее. Он ученый и диалектик, и выражает мысли большинства своих товарищей. Но Мвен Мас думает о другом: "Вы были на раскопках... Разве миллионы безвестных костяков в безвестных могилах не зывали к нам, не требовали и не укоряли? Мне видятся миллиарды прошедших человеческих жизней, у которых, как песок между пальцев, мгновенно утекла молодость, красота и радости жизни, — они требуют раскрыть великую загадку времени, вступить в борьбу с ним!"

Речь идет не о людях, погибших в борьбе за лучшее буду-

щее, не о тех, кто шел на подвиг ради прогресса. Мвен Мас потрясен смертью, поражением в схватке со временем всех безвестных (и известных), живших когда-либо на Земле. Он связан с ними одной нитью, и его решение провести опыт, вопреки всеобщему мнению, вызвано чувством долга перед ними. А в "Лезвии бритвы" Гирин ощущает тяжесть прошлого еще больше, он считает себя ответственным за "все страдания живой плоти в ее историческом пути от амебы до человека".

Отношение к прошлому сближает Ефремова не с марксизмом, а с русскими мыслителями XIX века.

Восставший против Логоса Истории Белинский писал: "Если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и проч.; иначе, я с верхней ступени бросаюсь вниз головой".* У Достоевского Иван Карамазов возвращал Богу свой билет на вход в мировую гармонию — из-за слезинки одного замученного ребенка. Это неотъемлемое от русской традиции чувство связи с прошлым, эта ненависть к страданиям и смерти нашли свое законченное выражение в системе Николая Федорова, для которого отвратительны были все классические, социалистические и другие утопии, ибо все они рисуют "общество, пирующее на могилах отцов".

В ПАУТИНЕ СТЕРЕОТИПОВ

По мере развития своих концепций Ефремов все дальше и дальше уходит от марксизма.

Метафизик и дуалист по образу мышления, он рисует махихейскую картину мироздания, наполненную символическими значениями и ничуть не похожую космологию согласно диалектическому материализму.

Поначалу типичный научный фидеист, он начинает сомневаться в науке. Он говорит вдруг, что "наука даже в соб-

* В. Белинский, Письмо В.П. Боткину от 1 марта 1841, в: П.Сакулин, ред., Социализм Белинского, М., 1925, стр. 12.

ственном развитии необъективна, непостоянна и не настолько точна, чтобы взять на себя всестороннее моделирование общества".

Но самый сокрушительный удар Ефремов наносит по ортодоксальному пониманию человеческой истории. Главное в ней — не борьба за распределение материальных благ, а "история духовных ценностей, процесс перестройки сознания и структуры ноосферы".

Ефремов предлагает собственную концепцию исторического процесса и различает в нем три ступени. Первая — это искусство, фантазия: "В голоде, холоде, терроре она создавала образы прекрасных людей, будь то скульптура, рисунки, книги, музыка, песни, вбирала в себя широту и грусть степи или моря. Все вместе они преодолевали инферно, строя первую ступень подъема. За ней последовала вторая ступень — совершенствование самого человека, и третья — преобразование жизни общества. Так создавались три первые великие ступени восхождения, и всем им основой послужила фантазия".

Фантазия, искусство, самоуглубление — сознание — вот сила, способная изменить ход истории.

Ефремов был невнимательно прочитан и плохо понят. Успех "Туманности Андромеды" помешал разглядеть в нем что-либо другое, кроме энциклопедической выдумки, динамического оптимизма, крайнего антропоцентризма и геоцентризма. Его тут же оплели паутиной стереотипов. Возникло клише, принятое и официальными критиками, и представителями "новой волны", и западными исследователями: Ефремов считается образцом соцреалистической утопической научной фантастики, а его противоположностью называют польского писателя С. Лема и братьев Стругацких. Система же оценки здесь просто ложна. Лем поразил воображение советских фантастов — оставаясь социалистическим писателем, он касался таких тем, о которых им и не снилось. Ефремов очутился где-то на полпути между "ближними фантастами" и "новаторами". И не без согласия последних им полностью завладели стражи идеологии.

В большой мере он сам виноват в этом. Он никогда не отличался ясностью выводов, наоборот, он обставлял их

объяснениями и дополнениями, зачастую искажавшими смысл сказанного. Тут равно сыграли и навыки эзопова языка, и утопический темперамент, заставлявший Ефремова браться за решение всех проблем, назойливыми мелочами снижать масштабы своих мыслей, доказывать свои недоказуемые метафизические положения наивнейшими аргументами. В такой форме его концепции легко уязвимы для критики и составляют благодарный материал для всяческих идеологических подтасовок.

Официальную критику с Ефремовым еще больше примирило его понимание искусства. Ефремов обладал определенным, но ограниченным даром: он был пейзажистом, художником природы. Ему часто удавались детали — описания архитектуры, бытовые сцены, аксессуаров в исторических произведениях, — у него был натренированный глаз и предметное воображение палеонтолога. Но по мере того, как он отдалялся от конкретностей, шел к обобщениям, к своим теориям или изображению идеального общества, все чаще появлялись в его прозе неточность языка, неестественность ситуаций, слащавые образы, патетические мелодекламации. О.Мандельштам заметил как-то: "Для огромного большинства произведение искусства соблазнительно лишь поскольку в нем просвечивает мироощущение художника. Между тем, мироощущение для художника орудие и средство, как молоток в руках каменщика, и единственно реальное — это само произведение". Ефремову такое понимание искусства чуждо. Он не верит в самоцельность творчества. Целью искусства он называет "формирование внутреннего мира человека в гармоническом соответствии с его собственными потребностями и потребностями общества". Искусство может быть только назидательным, только реалистическим (воспитывать на абстрактных примерах нельзя), говорить только о прекрасном (чтобы не искушать слабых духом). Эти убеждения характерны для традиции классической утопии, но они вполне совпадают и с требованиями соцреализма. Так получилось, что ортодоксальная форма заслонила у Ефремова содержание. И в этом главный секрет его успеха у советских идеологов литературы.

И все же, несмотря на эту рекуперацию, невозможно не увидеть в творчестве Ефремова главное. Четверть века он без устали стремился к своей главной и единственной цели — к заполнению той пустоты — духовной и психической, — которую оставило в людях исчезновение религии и попытка заместить ее догматической материалистической доктриной. Он был, вероятно, искренним коммунистом, атеистом, марксистом. Но в поисках нового духовного содержания он пришел к диссидентской политической программе, к принятию философских традиций религиозной — русской христианской и индуистской — мысли. Ефремов создал свою систему мировоззрения, основанную на нравственных и метафизических понятиях самосовершенствования, борьбы добра и зла, и противопоставил ее господствующей догме.

Вышла в свет книга Липы ФИШЕРА

"ПАРИКМАХЕР В ГУЛаге"

(перевод с идиш Зельды Бейралас)

275 стр. Цена 40 лир. Чеки направлять по адресу:

ул. Аципорним, 6/18, Рамат-Йосеф, Бат-Ям.

Елена КЛЕПИКОВА

"ЗЕМЛЯ ИВАНОВ ДА ЕМЕЛЬ"

(Неосталинизм и поэзия)

И снова — стихи: море разливанное! С ужасом вглядываюсь в лица прохожих — а вдруг каждый из них поэт?

Такое ощущение, что стихов у нас больше пишут, чем читают.

По официальным данным, на 1 марта 1976 года в Союзе Писателей СССР состоит 2661 поэт.

Нам есть, чем гордиться — первая страна в мире по производству поэтов! При чем здесь мясо и молоко — какая еще страна может похвастать таким количеством стихотворцев?! А сколько поэтов, не охваченных покуда кадровой сетью писательской организации? Имя им — легион, и с каждым днем все больше и больше...

Избежим разговора о пошлости и глупости, не станем придираться к качеству — об этом мы имели ограниченную цензурой возможность писать в советской прессе.* Пусть даже наши поэты не больно грамотны — разве в этом дело?

* "Бескрылый Пегас, или Не дожидаясь вдохновения". — "Литературная газета", № 24 от 12 июня 1974 года. "Колпак колдуна" - "Литературное обозрение", № 10, 1976.

Разве требуется от свидетелей талант?

От следователя — несомненно!

Имея обыкновение листать журнальную периодику и выходящие поэтические сборники, проясняя попутно литературную, а скорее — политическую ситуацию норовистого нашего, абсолютно непредсказуемого наперед — советского — времени, я с удивлением заметила сначала подводное, робящее, застенчивое, а потом — все более явственное, уверенное, бойкое — и вот уже агрессивное "течение" в нынешней поэзии, отмеченное маниакальной пристальностью к деревне, точнее — к ее легендарной старине, полномочно, хоть и жульнически расширенной до реальной плотности настоящего.

Тематическая общность вскоре укрепилась единой идеологической программой, появились общие принципы, каноны, стереотипы, образы, пока в последние годы это неудержимое движение не оформилось в четкое политическое направление с собственными идеологами, адептами, неофитами и эпигонами.

Кстати, начавшись с поэзии, это направление отвело ей впоследствии второстепенное — надстроечное место, загнало ее в угол, но сейчас уже поэт, едва родившийся в лоне этой политической корпорации, спешит заявить о своей причастности, приверженности, верности направлению обильными взаимными посвящениями его идеологам и собратьям, либо раскавыченными цитатами из его классиков, а то и прямым включением родственного поэта в сюжет стиха.

Так образуется четкая поэтическая группировка с общим политическим уставом, идеологическими святынями, эстетическими канонами и внутренней спаянностью членов, ревностно оберегающая себя от вторжения "иноверцев" и непримиримая к врагам из других поэтических и политических лагерей.

Именно ввиду этой откровенно заявленной общности мы и решаемся на групповой портрет, минуя их имена и индивидуальности — ежели таковые имеются: нас больше волнует то, что их объединяет, чем то, что отличает одного от другого. Таков, впрочем, ноумен — их общность превыше их отличий.

Армия поэтов — это пехота в русской партии; о тяжелой артиллерии мы поговорим как-нибудь в другой раз — отдельно. Что же касается их бездарности и художественной мнимости их поэтической продукции, то кому до этого дело? Настоящие поэты во все времена редки и одиноки, — до чего ж легко, подавив количественно, объявить их существование фикцией, то есть, в конце концов отменить его. Перестановка эта неизбежна, хотя и постепенна — мнимость доказывает свою реальность, обозначая настоящую — мнимой. Заменяя качество количеством, армия наших поэтов декларируется сейчас ведущим направлением советской поэзии, и недалек тот час, когда и — единственным!

Бездарные как поэты, они безупречны как свидетели — их стихами я и воспользуюсь, чтобы снять с них ценные — и бесценные! — показания для характеристики тех коренных, катклитических, необратимых изменений, что грядут на нашу страну неизбежно.

Потому что, скажем, прозаические неосталинистские произведения — романы Ивана Шевцова, Ивана Стаднюка, Всеволода Кочетова — выглядят нелепым уклоном от центральной идейной линии, и как раз редкостное, хотя и буйное, как у агавы, цветение плюс ироническое к ним отношение элитного читателя и умеренно-критическое официальной прессы все-таки успокаивают: раритет, реликт, рецидив — не более!

Увы, совершенно об ином свидетельствуют стихи: неосталинизм — явление советского эстаблишмента, и его распространение имеет глобальный характер.

Стихи — единственные свидетели, ибо болтливы профессионально, в то время как их коллеги и покровители в ЦК, МИДе, КГБ, ВВС, армии, флоте и других организациях профессионально молчаливы.

Перед нами единственный выход на поверхность ценной породы — пренебречь им было бы неразумно.

Любой разговор о растущем политическом могуществе единомышленного клана поэтов покажется преувеличением, пока мы не окинем взглядом их поэтические угодья.

Пока что стихи, а что за стихами?

Не бесы — пока что: бесенята...

МНИМОИСТОРИЧЕСКИЕ НАБЕГИ

А начиналось все вполне невинно и естественно — с родственной приглядки к деревне. То же происходило, кстати, в прозе — прежде всего в ее элегико-идиллическом ответвлении. Но проза имеет дело с реалиями, хотя указанное литературное ответвление и пыталось ее по мере возможности подретушировать и интонационно сместить. Однако резко бросающаяся в глаза конфликтная проблематика современного села — и социальная, и экономическая, и психологическая — не позволяли прозе витать в эмпиреях, и потому даже у самых яростных лириков среди "почвенников" отчетливо обозначилось чувство утраты, потому что и в самом деле той деревни, которая была, — не стало после нескольких эпидемических десятилетий революционно-бессмысленной ломки.

Поэзии до этого мало дела, она игнорирует реальность, придавая ей черты вождельные и взлелеянные: "засонье российских деревень" — то есть тот райский остов буколической идиллии, которой никогда не было, — не только сейчас! Мы попадаем в совершенно фантастические и ни с какой исторической эпохой конкретно не связанные феокрытовы буколики с лешими и русалками, с Ладой-синеглазкой, с Лелем, с Жар-птицей, с Царевной-Несмеяной, с "могутно-древними" мужиками и прочими сказочными персонажами. Отсюда берут свое начало витийственный и звонкий ретроспективный патриотизм и яростное отстаивание нашими поэтами своего "аленького цветочка" — дремучей патриархальной глубинки с ярко раскрашенным лубочным фасадом.

А может быть, и в самом деле мы любим больше всего то, что не существует?

Во всяком случае, беды в этом — никакой.

Однако пассеистские и мнимоисторические набеги в прошлое, а точнее — в сказку, в легенду, в миф завершаются обычно возвращением поэтов с богатой добычей.

Во-первых, словарной: стихи превращаются в благоговейную стилизацию, русский язык звучит как иностранный и нуждается в сносах, примечаниях и знаках ударения, авторы проповедуют стилистический абсентеизм и больше заимству-

ют из старых словарей, чем из живой речи. Темень смысла, однако, искупалась исследовательским пафосом — это был период реставрационных тенденций, чистого искусства, не омраченного пока тяжестью программы и идеологии.

Основная стиховая продукция этой поры — незатейливые стилизации всех видов фольклора: частушки, песни, сказки, былины — вплоть до почти комических реликтов патриархальной либо церковнославянской словесности, насильственно втиснутых в современный словарь. При авторитарной и пие-тетной зависимости от источника вполне естественна в этих декоративных перелицовках аморфность интонации, сюжета и смысла.

В период реставрации, впрочем, смысл не важен, а важно само возвращение к источникам и к истокам — с пока еще не осознанными на будущее целями.

Много ли можно требовать с расписной матрешки либо с сувенирного самовара *a la Russe*?

От лингво-узорчато-стилизаторских задач наши авторы переходят постепенно к идеологическим заданиям, которыми отяжеляют свой восторженно-небрежный стих. Главная добыча этих ретроспективных набегов: извлечение из легендарной русской старины прочной идейной реликвии — в укор расшатанной, расхлябанной и усложненной современности. Это все равно: были или не были в прошлом те туземные прелести и добродетели, которые будто бы оттуда извлечены нашими поэтами! Для того, чтобы объединиться, необходимы: знамя, программа, идеалы. Из прошлого их извлекать сподручнее, чем из настоящего, ибо, как известно, если бы даже Бога не было, — его следовало бы выдумать.

Поэзия одиозная, клановая, направленная, замороженная одной мыслью и интонацией, неизбежно в конце концов фетишизируется, то есть приобретает стойкие символы, опорные эмблемы, незыблемые и сакральные образы-фетиши — своеобразные масонские знаки, связующие, как и родословная (о ней — ниже), поэтов в единый родственный и идеологический союз.

Итак, что представляет и символизирует Россию?

Из деревьев — береза;

из рек — Волга (...матушка-река, тогда как Дон — батюшка, но в более локальной фетишизации);
из географических категорий — равнина;
из трудовых процессов — сенокос;
из музыкальных инструментов — гармонь и балалайка (в дружеской конкуренции);
из цветов — полевые: васильки и ромашки;
из мужских и женских имен — Иван.

Список этот наверняка можно продолжить и можно достаточно проиллюстрировать — мы располагаем многочисленными примерами поэтической обработки этих образов в направлении государственной фетишизации: еще раз сошлемся на нашу статью о березе как растительном символе России — так сказать, частный случай в общей сакраментализации вышеназванных и аналогичных им символов.

Приведем несколько примеров на тему "Иван", чтобы продемонстрировать ту напряженнейшую функциональную нагрузку, которая возложена на это вполне заурядное русское имя.

Один из поэтов, готовясь стать отцом, "от предчувствия пьян":

**Коль появится дочь, нареку Ярославной,
А пожалует сын — непременно Иван!**

Это, так сказать, признания лирического толка, а вот и более далекие обобщения:

**Земля Иванов да Емель,
Ты — колыбель моя Россия,
Взаймы у сумрачных земель
Ума и сметки не просила.**

Так что тенденция к здоровому изоляционизму — отнюдь не личное открытие Солженицына, но заимствовано им у армии наших поэтов. Что же касается "сумрачных земель", то трудно определенно сказать, на какую именно страну здесь намек, скорее всего — на все скопом: Европа, Запад и прочее. К этому вопросу мы еще вернемся чуть позже, пока что укажем лишь на прямое совпадение подобной программы с офи-

циальной политикой Сталина в последнюю пятилетку его фантастической жизни.

Кстати, а откуда извлечены названные нами символы — от Волги-матушки, Ивана — старшего брата до балалайки и васьмиков?

Из седой древности?

Как бы не так!

С газетных передовиц конца сороковых — начала пятидесятых годов.

А вот и прямое, хотя и запоздалое, подключение бравых наших поэтов к знаменитой кампании против космополитов — с помощью все того же волшебного имени "Иван" и под видом некоторой терминологической корректировки тогдашних погромно-сигнальных статей, в которых, как известно, синонимом слова "космополит" была поговорка "Иваны, не помнящие родства". Армия наших поэтов задалась целью реабилитировать забывшего родство Ивана, педантируя тем самым иноименный и иноплеменный характер космополитизма — не русский!

Не знаю я, мне не ответить,
Как зародилась та молва,
Что будто жил да был на свете
Иван, не помнящий родства.

И еще более определенно, программно и по-уставному четко:

Ведь всходят (точно на опушке
Грибы, едва пробрызнул дождь),
Ивашки, Ванечки, Ванюшки,
Ванятки, Вани... — не сочтешь!
В глубь Родины пуская корни,
Какая б ни прошла беда,
Родство свое Иваны помнят —
И не забудут никогда!

И наконец — самочинное устранение в общем-то ни в чем не повинной пословицы, спрессовавшей народную наблюдательность и мораль:

**Да разве может быть Иваном
Иван, не помнящий родства!**

Казуистический этот выкрик с его колеблемым смыслом намекает, с одной стороны, на то, что Иван не может быть космополитом (то есть Иваном, не помнящим родства), а с другой — что космополит (то есть Иван, не помнящий родства) не может быть Иваном.

Тем самым сходу опровергается известный аристотелев закон формальной логики, но какое дело нашим поэтам с их патриотической тенденциозностью — до умственной связности в горячечных, неистовых доводах, тем паче, что их крутой изоляционизм направлен не только на территорию России, но и на собственное мышление: "В диковинку мне думушка иная, чем своя!"

И еще большее совпадение с официальной пропагандой происходит у наших авторов, когда имя "Иван", впитав в себя великодержавной спеси и шовинистического угара, приобретает дополнительно и агрессивно-воинственные качества:

В любой земле Иванов знают...

**Иваны — вечной силы символ,
Любой из нас для них — Иван!**

Параллельно со "здоровым изоляционизмом" и национально-идеологическим размежеванием производится русификация самых различных и вроде бы наднациональных категорий:

Русская душа нетерпелива, я горжусь, что я ее поэт...

**У меня характер очень русский —
Я люблю большие перегрузки...**

Наши русские просторы, наши доли и леса...

Наша Русь, что взором не объять...

Вплоть до анекдотических заявлений, типа:

Небо всюду бирюзово, но сердечно лишь у нас!

Или — того почище:

И майским утром каждый лист весенний
О том поет на русском языке...

Того же типа:

Устроил с горя ветер ералаш,
Ругался он по-своему, по-русски!

Ежели даже ветер и листья говорят на чисто русском языке и об иных языках знать не знают, то естественно национальное присвоение нашими поэтами и других общечеловеческих качеств и последующая их хвастливая апофеотика, как то (извлекаю из стихов):

Русский закат
русский рассвет
русская зима (как, впрочем, и другие времена года)
русский снег
русский сугроб
русская тишь
русская тишина
русская чистота
русский запах (а это еще откуда — может быть, из фольклора —
"здесь русский дух, здесь Русью пахнет" — так дух же, а не запах!)
русская дума
русский хлеб
русский характер
русское сердце
русская слеза
русская кровь
русская мечта
русская радость
русская красота
русская Венера

русская девочка — русская девушка — русская женщина — русская мать — русская старуха.

И так далее — вплоть, естественно, до музыки с ее безупреч-

ной нацпринадлежностью, выявленной с анкетной введливостью:

Мне жениться с музою Российской — душой...

Какой наглядный фаллический образ, искусно сублимированный в свою платоническую противоположность!

Вот описание любовной связи с музой другим поэтом:

Пусть же девочка русая — муза
Не изменит тебе никогда.

Представляю себе ужас нашего поэта, ежели к нему неожиданно явится муза-брюнетка! Уж не отбросит ли он лиру, на которой бряцал, а то еще, чего доброго, и вовсе отринет свой певческий жребий, для сохранения расовой чистоты своих стихов?!

В конце концов, нужда в поэзии отпадает, ибо сами по себе эти слова — "Россия", "Русь", "Русский" несут такой заряд сакральной поэтичности, что стиху за ними не угнаться, и он отменяется за ненужностью:

И чего волновался я, сияясь
Вспомнить пару запавших слов?
Есть места, где скажи — Россия,
И не надо других стихов!

В том-то и дело, что — надо! Еще как надо! Просто необходимо! Нужны именно стихи, а не общедоступные декларации, воинственные заклинания и пышнотельные оды! Нужны мысли и чувства, а не трескучая риторика и высокопарные жесты — нужны именно стихи, а без них — хана!

Что мы, кстати, и наблюдаем на доблестном примере наших поэтов.

У слова "русский" иногда появляется эпитет "славянский", но все же достаточно редко — здесь внутри русской партии очевидные разногласия: одни признают это тождество, другие с порога его отвергают, противопоставляя русское — в том числе славянскому, то есть чужеродному и иноземному, хотя возможно и в меньшей мере, чем, скажем, французское, немецкое либо американское.

Страстно и упорно утверждая в своих стихах реальность, скорее бывшую, чем сущую, а точнее — фикцию вместо реальности, при этом требуя признания для фикции статуса реальности, наши поэты стойко оберегают и обороняют сотворенного ими идола от разрушительных влияний и, учитывая его антикварную хрупкость — упрятывают все бережливей за высокими пограничными стенами, подальше от посторонних глаз, в заветный ларец, ключ к которому только у них. Для живой реальности такая насильственная изоляция была бы, конечно, губительной; для реальности фиктивной, притворной, вымечтанной изоляционизм — важнейшая форма бытия, а может быть даже — необходимейшее условие существования не только литературного...

Поразительно однако, как суверенные границы поэтически-вымечтанной фикции совпадают с государственными, а поэт выступает в роли пограничника, охраняющего взлелеянный мир от иноземных влияний:

**У песенных русских границ
Стою, как Алеша Попович.**

От охранительно-оборонных позиций наши соумышленные поэты переходят к наступательным действиям, причем стратегические их замыслы из невинной вотчины поэзии вторгаются в сферу высокой политики.

Вот, к примеру, один из наших поэтов, отталкиваясь от знаменитого спора Наума Коржавина с Павлом Коганом об угле и овале ("Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал" — "Меня, как видно, бог не звал и вкусом не снабдил утонченным. Я с детства полюбил овал за то, что он такой законченный") — вносит в этот спор свою лепту, отдавая с детства предпочтение не углу и не овалу, но прямой линии:

Я с детства полюбил прямую линию.

Оставим в стороне литературные споры — коснемся, вслед за поэтом, — государственных:

**Мне выпрямить хотелось всех согбенных,
Я ненавижу каждый выкрутас, —
Меня недаром злили откровенно
Неровные границы государств.**

Справедливости ради, отметим, что экспансионистские настроения все-таки раритет в нашей поэзии, агрессивная сущность которой скорее окрашена идеологически, чем территориально.

Утверждая столь истово и непреклонно неизменное постоянство и вневременную замкнутость патриархально-антикварной своей реликвии, наши поэты с откровенной враждебностью относятся ко всему, что находится за пределами любимого ими отечества.

Тема "Заграница и Русь" — одна из самых одиозных и животрепещущих в коллективном сотворчестве поэтов-собратьев. Прежде всего подвергается сомнению сама необходимость путешествий за пределы родины — наши поэты, кичась патриотической верностью России-матери, одновременно уберігают свое зрение от греховных соблазнов — как бы из инстинкта самосохранения:

**За границей не был
и не тянет...**

**Мне рано, ребята, в Европы
Дороги и трассы торить:
Еще я на родине тропы
Успела не все исходить...**

Представление наших поэтов о загранице, даже в терминологическом аспекте — на уровне, с одной стороны — староворов с их "вавилонской блудницей" Запада, а с другой — вполне под стать тому, кто думали о "сонной, изнеженной Европе" неумолимые советичи времен военного коммунизма. Заграничные поездки наших поэтов — вынуждены, мучительны, экзотичны. Они ностальгируют и страдают в урезанный до фарса срок советских заграничных турне.

Вот с превеликими оговорками, извинениями и страхом,

будто из-под палки, а не по доброй воле! — поехал наш поэт в капстрану.

Поехал, однако, он вовсе не за естественным утлением жажды дальних странствий, нет! Упаси бог его в этом запознать! — его путешествие имеет сугубо идеологическую нужду: он едет за границу, как Георгий Победоносец на борьбу с драконом. Заграница в его экзальтированном сознании — вся скопом! — представляется "смертельным врагом" России.

Мы перешли на единственное число и говорим о поэте, но это для удобства, ибо индивидуальные отличия минимальны — мы продолжаем наш разговор об армии поэтов. Вот признание одного из них:

**Совет меня за сине море
Не схожий с избами чертог.
На эту каменную глыбу
Я не молиться еду, нет:
Влечет любовь мою на дыбу —
Сличить с Отчизной Новый Свет.**

**...Хочу воочию увидеть
России смертного врага,
Чтоб зло стократ возненавидеть,
Стократ влюбить себя в луга.**

Или такое, совсем уж мрачное признание:

**Уезжать — как в пропасть поскользнуться,
Уезжать — как будто не вернуться,
Нелегко вдали от роц России
Оставлять могилы дороге.**

Так не уезжай, бедный поэт! Сиди дома, кто тебя гонит!

Еще раз уточняем — речь идет не о длительных командировках, и уж, конечно, не об эмиграции, но о десяти, — от силы четырнадцатидневной поездке — не более того!

О поездке возжеленной, дефицитной, труднодоступной, дорогой, с обязательным санитарным кордоном партийно-кагебешного толка...

А вот ведь, вместо отдыха и развлечения — тяжелое, тягост-

ное, мучительное испытание, цитирую стихотворение с мелодраматическим названием "Вдали от Родины":

**Над затхлостью каналов Амстердама
Иль в Гамбурге —
Холодном, как скала,
Душа моя, как выпь в ночи, рыдала,
Ей не хватало света и тепла.
Ей близости любимой не хватало,
Березы
И ракиты у ручья...
Тень Гамлета над Данией витала,
А мне казалось —
Это тень моя.**

Тень Гамлета витает сейчас и над нами — стихи, стихи, стихи...

Слова, слова, слова...

Душа, прошедшая школу, а точнее — муштру фетишизации, — уже не вбирает нового, хоть и чужого, но исправно, суетливо и яростно отстаивает свои реликвии, пусть даже фиктивные.

**Он вопит, неоном вспоротый,
Полуад, полудей...
Прохожу заморским городом,
Сын распахнутых полей.
Город мечется и вертится,
Будто волк, зажавший кость...
В роскошь нищую не верится,
Дуй, дурмань! а лучше — брось!**

Уж не диалог ли это с дьяволом, уж не заклинание ли от нечистой силы?!..

**Не окрестишь в чужестранника,
Умным зраком не грози, —
Голубеет, не заржавела,
Хата вешняя в Руси!**

И почище того — самоутверждаясь в борьбе с ветряными мельницами чужеземных нравов и идей:

**...Здесь и дышу, и пишу я по-русски,
Всем иностранным ветрам вопреки!**

В контексте этих стихов "о загранице" — чем не жанр? — у читателя создается впечатление; во-первых, единственности, уникальности и явного превосходства России над "заграницей", а во-вторых, — это с другой стороны — Россия оказывается обложенной со всех сторон врагами, как войсками Антанты в восемнадцатом году. Бедная Россия! — как она напоминает в этих стихах прекрасную царевну, которую поэты-патриоты свято стерегут от трехглавой гидры империализма.

Какая там "страна Иванов да Емель"?!

Скорее — земля обетованная, русский наш Сион, святыня святынь! Как не понять праведный гнев наших поэтов на тех отщепенцев, которые сменили земной этот рай на ад заграничной жизни:

**Будь проклят —
Кто отчую землю
Сменил на заморскую спесь.
Иссохнет и сгинет под гики,
Как осенью жухлой листва,
Кто жаждет нас видеть безликим,
Кто блудно не помнит родства.
Мы яростно
С Курбскими спорили,
Водили полки по стерне...**

Наконец-то, — все названо своими именами! При всей своей агрессивности наши поэты не настолько тупы, чтобы не понимать, что за граница — орешек не по их зубам: говорю и о поэтических, и о государственных! Тем больший гнев обрушивают они на врагов внутренних — в последнюю очередь, кстати, на Курбских, то есть на эмигрантов, в первую, — на тех, кто не уехал, кто здесь, рядом, вблизи, а враг!

Перед тем, как к главному этому негативному объекту наших поэтов перейти поподробнее, вертанем взгляд назад — и удивимся! Странное вроде бы противоречие — поэзия, объявившая себя, в противоположность предшествующей —

эстрадно-евтушенковской волне — "тихой", на проверку оказывается ничуть не менее громогласной. Проповедь деревенской тишины и призывы к созерцательному безмолвию легко уживаются с бабьей визгливостью и полемической скандальностью. Впрочем, и призывы к тишине получались у наших поэтов излишне громкими и слишком истеричными, такое даже возникает ощущение, что кроме этих громогласных призывов к тишине, ничего более тишину не нарушает. А главное — врачу, исцелился сам: прежде, чем призывать к тишине окружающих, надо ее поначалу, как минимум, установить в самих себе.

Тихая эта поэзия, бьющая исступленные поклоны мифическому деревенскому захолустью, на самом деле совсем не тиха. Напротив — она энергична в выявлении врагов, до крайности агрессивна и беспощадна к ним.

А что касается "тихой лирики", то это не более чем литературная маска, а точнее — терминологическая маскировка. Поэтому напрасно читатель, загипнотизированный чередой патриотических гимнов и патриархальных идиллий, из которых заботливо отцежено время, захочет отдохнуть душой в "вешней хате" России. Оттуда он услышит грозный звон клинков и опасно почует металлический запах крови.

Презрительно отрицая "страусовы страны", наши поэты, однако, более всего непримиримы к врагам внутри страны. Можно даже сказать, что эти враги насущно необходимы им для нормального функционирования. Есть случаи прямо-таки патологической, болезненной, тотальной подозрительности, настоящей мании преследования и одновременно традиционно-советской страсти к разоблачениям. Личное и общее, частное и государственное настолько сложно перемешаны в этой судорожной ненависти, что наши авторы объявляют ее святой и величавой:

**...Выросши с пращой не в Москве,
Я всегда ношу ее про случай,
Чтобы справедливости помочь.
И летит под самой черной тучей
Камешек мой в самую точь-точь.**

Что это за "точь-точь", мы еще поясним, а пока отметим

забавность метаморфозы, происшедшей с поэтом, можно сказать, на глазах читателя, потому что заимствованная у пращура праща для метания камней принадлежит поэту, который в другом своем стихотворении умиленно сообщал о себе, что он не кто иной, как патриархально-легендарный Лель, и в глазах у него цветут васильки, в то время как на самом деле сверкают молнии: не Лель, а Соловей-Разбойник!

Другой поэт, не менее задиристый, распытый "как Христос" за "незрелые грехи", представляет свое "вознесение" не иначе как "скачком" вниз, на дымящуюся от крови и братоубийственных распрей землю: "Настанет час, и я сойду с креста, но этот крест перекою на саблю!" — супротив христианскому призыву перековать "мечи на орала". Сквозь парадоксальную нифровку христианским мифом — прорывается ярко и непоследовательно свирепая воинственность поэта: "Зажег огонь — не пьются от огня! Спокойным будь, как пуля в пистолете".

Но всех перешибает маниакальной подозрительностью и превентивной, заранней злобой, ибо враги пока — мнимые, воображаемые, — поэт, стоящий в мрачном раздумье у Мавзолея: "Герои полей и заводов, герои смертельных атак... А может быть, вместе с народом идет затаившийся враг?" Не полагаясь на зоркость милиции, КГБ и кремлевской стражи, поэт сам возлагает на себя сыскные и карающие функции:

**Я встану у входа солдатом,
карающе брови сомкну.
Я встану железно и круто,
сжимая в руке карабин.
И вздрогнет,
и вскрикнет иуда
под пристальным взглядом моим.**

Обратная метаморфоза произошла с единственным одаренным среди этой безликой армии поэтов человеком, рано и нелепо погибшим — задушен в постели любовницей — Николаем Рубцовым. И без того болезненный и жестокий, он

поддался общей политической панике своих сотоварищей по литературному лагерю, но в конце концов все-таки очухался от этой непотребной и жутковатой вакханалии.

Вот его собственный рассказ:

**Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и доли
Со всех сторон нахлынули они,
Иных времен татары и монголы.
Они несут на флагах черный крест,
Они крестами небо закрестили,
И не леса мне видятся окрест,
А лес крестов в окрестностях России,
Кресты, кресты...
Я больше не могу!
Я резко отниму от глаз ладони
И вдруг увижу: смирно на лугу
Траву жуют стреноженные кони.**

Так кончаются эсхатологические видения и апокалиптические предчувствия и прогнозы — у тех, кому Бог дал мужество либо талант.

Что же касается армии наших поэтов, лишенных обоих этих качеств, то их, как и горбатого, может исправить только могила.

"САМЫХ РУССКИХ КРОВЕЙ..."

В 1924 году Михаил Зощенко написал рассказ "Крестьянский самородок" — про то, как два месяца он, нервный и больной человек, отравленный газами в германскую войну, терпел нашествия крестьянского поэта и самородка Ивана Филипповича Овчинникова: единственно из уважения к его происхождению! Сначала тот приходил три раза в неделю, потом стал ходить ежедневно. Тихим, как у таракана, голосом, читал Иван Филиппович свои крестьянские стишки и просил, по возможности скорей, пристроить их по знакомству в какой-нибудь журнал или газету. И очень удивлялся, что редакции их не берут:

— Чего же они говорят? Может, они, как бы сказать, в

происхождении моем сомневаются? То пущай не сомневаются — чистый крестьянин. Можете редакторам так и сказать: от сохи, дескать. Потому кругом крестьянин. И дед крестьянин, и отец, и которые прадеды были — все насквозь крестьяне...

Бедный Иван Филиппович — угораздило его не вовремя родиться: на полвека бы позже, и пошли бы его поэтические дела в гору, да еще как! Не пришлось бы ему маяться да попрошайничать, а попал бы он незамедлительно под сиятельную защиту Русской партии.

Крестьянское происхождение — привилегия, преимущество, личная заслуга, пропуск: если не в бессмертие, то в поэзию. В принципе необходимо русское беспримесное происхождение, а крестьянское — это суперрусское, максирусское, чисторусское. К семидесятым годам XX века откристаллизовался, наконец, в нашей поэзии новый, невиданный доселе жанр — "Родословная".

Стихи под таким названием — в наличии у каждого поэта из Русской партии — они предъявляют их вместо паспортов:

**Мой род мужичий, древний —
Мужичья в жилая кровь.**

**Как мне знать, что написано мне на роду!
Только род свой от буйных ключей я веду,
От поморов хмельных, смолокуров лесных,
От крестьян приархангельских, не крепостных.**

**Теплый вечер, зажги звезду мою —
О своей родословной думаю.
Кем была ты, родня предальняя?
Тот был ратником, тот был — пахарем...**

**Я примерил кольчугу. Легка мне кольчуга!
И шелом не велик — значит русич я, скиф.
Самый первый из Чуевых правильно чуял:
Туговато б ему без игрушек таких.**

Я привела четыре примера, а могла — четырежды четыре, четырежды десять и вообще — сколько душа пожелает. Можно наугад раскрыть любой стихотворный сборник с гри-

фом "Молодой гвардии", "Нашего современника", "Московского рабочего" — издательств, монополизированных Русской партией — и, полистав его пять минут, натолкнуться на очередное генеалогическое исследование. Локальная окраска националистического этого жанра зависит от конкретного места рождения поэта либо его предков — отсюда уже гордость волжской породой или уральской, либо вологодской, а то даже орловской: по аналогии, видимо, с лошадиными рысками!

Одно из стихотворений так и называется "Орловская порода", но речь в нем не про коней, а про людей:

**Я счастлив тем, что я орловской крови,
что дед мой был орловским кузнецом,
что я и сам сегодня встал бы вровень
с орловским соколом — моим отцом.**

Генеалогическая вакханалия доходит до полного безумия, когда один из поэтов, ничтоже сумняшеся, выводит свой род ни много ни мало как непосредственно от языческого бога Перуна: по невежеству либо по спеси, — не знаю:

**К сынам славян, к сынам Перуна
Выходит наш российский род...**

Родословная служит, как правило, основой автопортрету, который строится по иконописному принципу, когда портрет святого помещен в рамку, составленную из сюжетных клейм по мотивам жизни святого и его предков. Парадокс в том, что для автобиографии выбран панегирический жанр бытия, причем — вместо личных достоинств указаны родовые, этнические, национальные и расовые:

**Я родился в России,
Россиянин я сам:
По бунтующей силе,
По озерным глазам.
Русобровый, лобастый,
Самых русских кровей...**

Вот где собака зарыта! Дело в крови — и это прежде всего!

* Наверяд ли мы можем предположить в указании на картавость намека на Ленина по принципу известной детсадовской загадки: "Это что за большевик? Он залез на броневи́к, букву "р" не произносит и большую кепку носит". В нашем случае речь идет сугубо и только про евреев.

кивают, вынюхивают в крови чужеродный элемент, как бы мал он ни был. Им бы не в русской поэзии, а в медицинской лаборатории служить — вот бы где они развернули незаурядные свои разведывательно-расистские дарования: в пахуче-пробирочном желто-красно-коричневом мире мочи, крови и кала!

А поэзия — это так: игра в бирюльки, бесконечные репитиции, военные учения, слова, слова, слова, увы...

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"
"L'APPENSEE Russe"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

*"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Распространитель: "Атлас", ул. Членов, 49, Тель-Авив.
Цена в розничной продаже - 3,5 лиры. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.*

Виктор НЕКИПЕЛОВ

ИНСТИТУТ ДУРАКОВ

Окончание. Начало см. в 23 номере.

ЧТО ЕСТЬ ДЕНЬГИ?

Володя Шумилин, московский инженер-экономист, был человеком совсем другого психологического склада. Если Розовскому мешал избыток артистичности, то Володю отличало полное ее отсутствие. Именно эти причины, на мой взгляд, и помешали обоим остаться в психиатрическом "раю".

Володя был очень милый человек. Добрый, ненавязчивый, скромный. Даже застенчивый: в минуты неловкости его круглое, чистое лицо заливалось малиновым румянцем. Несмотря на 38 лет, в нем было много детского, наивного, и этой детскостью окрашено, как вы сейчас увидите, и его преступление.

Шумилин окончил финансово-экономический институт и работал начальником отдела финансов авиационного завода в Москве, что в районе стадиона "Динамо", кажется, № 7. Он был женат, однако, семейная жизнь не удалась, Володя сошелся с другой женщиной. А уйти из семьи не мог, так как был очень привязан к дочерям. Жена понимала его терзания, кажется, даже предлагала взять одну дочь и уйти, но — другая женщина не хотела такого решения. У нее свой ребе-

нок был, который почему-то Шумилина не принимал. А девочки не хотели, чтобы отец из дома уходил. В общем, запутался, пить начал. И все же еще за час-два до случившегося едва ли мог себе представить, что произойдет.

Однажды вместе с кассиром получали в банке зарплату для завода. Какая-то очень большая сумма. В портфель кассира все не вошло, часть денег взял к себе в папку Шумилин. Обратно почему-то поехали порознь...

— Не могу этого объяснить, — говорил мне Володя. — Лежали зелененькие, красненькие бумажки, много их было...

Решение пришло мгновенно. Он позвонил своей любовнице и предложил ей... немедленно поехать с ним на юг, в Сочи.

— Какие Сочи? С чего это вдруг? Ты с ума сошел!

— Не спрашивай ни о чем. Поедем. Я хочу отдохнуть.

— Понимаете, — говорил он мне, — никогда не был на юге. Все ездят. Сочи, Сочи!.. Вот и я решил.

Вот такая экзотика. Шура Балаганов из "Золотого теленка" все о Рио-де-Жанейро мечтал, Володя Шумилин — о Сочи. Дальше этого его фантазия не распространилась.

Решил поехать к подруге после работы. Надеялся, что уговорит. А пока что отправился к тетке, кажется, в Малаховку, чтобы спрятать у нее свой "миллион". Тетки дома не оказалось. Разменяв одну бумажку, где-то выпил для поддержания духа. Сигарет купил. Шоколаду...

А по московским улицам уже шел розыск незадачливого Креза. Когда к пяти часам вечера приехал к дому подруги, за углом стояла легковая машина с муровцами. В его папке оказались налицо все десять тысяч — без шести или восьми рублей, которые "прокутил" в Малаховке.

Обвинили Володю по статье 93¹: "хищение в особо крупных размерах". Ждало его по этой статье: "от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества, со ссылкой или без таковой, или смертная казнь с конфискацией имущества".

Кто подсказал Шумилину идею психиатрической обороны, неизвестно. Но сюжет он избрал довольно интересный.

В общем заявил следователю, что это был... сознательный акт протеста против денежной системы. Дескать, он всегда

ненавидел "презренный металл", уродующий человеческие отношения и считал, что все зло в мире — от денег. Специально поступил в финансовый институт, дабы понять, что такое деньги. После окончания долго наблюдал, в частности, на своем заводе, как денежная система уродует нашу экономику. Помнил слова Ленина о том, что при социализме деньги будут отменены, считал, подобно коммунарам двадцатых годов, что "подгонка рублем" для граждан социалистического общества столь же унижительна, как "подгонка дубьем" при помещике.

И вот, страдая от невозможности что-нибудь сделать в борьбе с этим "всеразьедающим злом" и не видя выхода ни для себя, ни для человечества, Володя решил покончить с собой. Но как? Наложить на себя руки не хватало воли. Тогда он решил: если источник всех зол — деньги, пусть этот Молох его и убьет. И он задумал совершить крупную кражу, которая карается смертной казнью.

Вот ведь какой трагический и занятный бред. К сожалению, на сценическое воплощение этой идеи, на игру у Володи не достало фантазии. "Деньги — зло, деньги — зло", — твердил он своему врачу, не придав этой фантазии сюрреального, "шизофренического" размаха и блеска. Шумилин тоже писал "ученый трактат", но сколь бледен он был по сравнению с работой Розовского! Произведение Володи напоминало худой пересказ какой-нибудь записной брошюры на тему "Классики марксизма-ленинизма о денежных отношениях при социализме".

— Энергичнее надо, смелее! — внушал Шумилину перебранный в нашу палату большой дока по части психиатрии Семен Петрович Б., о котором я еще буду писать. — Что вы ко-та за хвост тянете: "Деньги — зло, деньги — зло." Вы действие дайте, действие! Схватили бы горсть десятков и подожгли их! Ну хорошо, не успели. Так сейчас делайте! Нарезьте бумажек, Ленина нарисуйте на них! И жгите, жгите по углам, под кроватью! Наклейте плакат в сортире: "Голосуйте на выборах за меня! Я отменю деньги!" А на суде листовки разбросайте... Произнесите речь. Вот так, вот так! — он выбрасывал вверх руку и делал страшное лицо.

— Да, да, — оживлялся Володя. — Вот так, вы говорите? А в листовках что написать?

Нет, не мог он. Прямодушная, простая душа. Увели его тотчас после комиссии. Легко, все с той же детской, инфантильной улыбкой ушел на свою Голгофу.

КТО ОНИ, ЭТИ УГОЛОВНИКИ?

Возможно, мне скажут: не слишком ли осветленными предстают уголовники в этих записках. Что это: оправдание преступников, идеализация преступного мира?

Нет. Не идеализация. Попытка понять этот мир, рассмотреть, из кого же он состоит. Кто они — эти уголовники, эти парии нашего общества, осужденные и отвергнутые им, эти люди, которых мы обычно стараемся не видеть, не знать, не замечать?

Я знаю, что есть два подхода, две точки зрения на проблему. Одни считают, что уголовные преступники, кем набиты наши лагеря и тюрьмы, суть отщепенцы, отребье рода человеческого, закосневшие в жестокости и безбожии, часто — биологически порочные и ущербные, в которых нет ничего человеческого. В какой-то степени эта линия восходит к "Запискам из мертвого дома" Ф.М. Достоевского.

Другая точка зрения имеет в своей основе чеховский подход, так полно и прекрасно выраженный им в "Острове Сахалине". Могут сказать, что Чехов был сторонним наблюдателем и сам с уголовными каторжниками не сидел. Но эта линия включает в себя и свидетельства такого замечательного знатока уголовной психологии как В.Г. Короленко.

Лично мне ближе вторая точка зрения. Так виделось, так было.

Да и не уголовную хронику я пишу, а очерки о судьбах людей. Поэтому рисую их такими, как предстали они мне: доверчивыми, слабыми, растерянными и усталыми, страдающими и надеющимися. Я увидел их не так, как видит прокурор — сквозь другую щель, другим сердцем. Я различал в них много хорошего и об этом хорошем пробую рассказать здесь.

При ближайшем рассмотрении: как часто эти люди сами были жертвы чьей-то чужой воли, рокового стечения обстоятельств, в конечном счете — порочного влияния общества, государства, системы.

Это были жертвы несовершенных и жестоких законов. Жертвы социальной несправедливости и неблагополучия жизни в государстве, в котором мизерная заработная плата не дает возможности обеспечить элементарные потребности, не переступив закона... Жертвы личной неустроенности, уродливых семейных отношений, развращающего влияния улицы, алкогольного разлива...

И главное — жертвы безнравственности общества, в котором убита вера и извращены представления о добре и зле.

Конечно, я пишу об этих людях, жалея их. Такими они виделись, больные пасынки большого равнодушного общества к своим несчастным отпрыскам.

МЕТОДЫ ДОЗВОЛЕННЫЕ И НЕДОЗВОЛЕННЫЕ

Наряду с дозволенными методами расследования в институте Сербского применялись и методы явно недозволенные.

Одним из них была так называемая растормозка. Суть ее заключалась в том, что обследуемым, в тех случаях, когда они отказывались разговаривать с врачами или находились в реактивном состоянии, вводили возбуждающие химические средства. В результате люди, помимо своей воли, начинали говорить и выбалтывали скрываемое.

Действие подобных средств было показано в английском фильме "Меморандум Квеллера" и французском "Вы не все сказали, Ферран?" В первом фильме шайка немецких неонацистов пытается так английского разведчика, чтобы выведать у него нужные им секреты. Эти жуткие кадры показаны на экране донельзя натуралистично.

Нечто подобное видел я и в институте Сербского. Растормозки проводились довольно часто.

Для растормозок применяли сочетание инъекций барбитала натрия и кофеина. Сначала вводили под кожу кофеин, через некоторое время, в вену, медленно, — мединал.

В каких-то определенных дозах снотворное действие медикаментов и возбуждающее кофеина сочетались таким образом, что вызывали эйфорию с одновременным подавлением воли у подопытного. У него возникало неодолимое желание высказываться, пространно отвечать на вопросы, вообще — подчиниться чужой воле. Инъекции делала сестра в присутствии лечащего врача.

Врач устраивал допрос. Обычно растормозки проводили в процедурной комнате, при закрытой двери, больной во время инъекции лежал на кушетке. По мере введения медикамента им овладевала необычная веселость, говорливость. "Мой язык, как шнурок, развязался", — поет В. Высоцкий. Вот так, развязав языки, зэки выкладывали все. Конечно, врачам они рассказывали о своем преступлении больше, чем следователям, и последние, наверное, тоже пользовались потом результатами растормозок.

Я уже не говорю о том, что во время этих "химических бесед", конечно, выплывала наружу симуляция. Большинство подопытных, главным образом, "реактивщики", почувствовав, что они разоблачены, после растормозки спокойно ехали в тюрьму, хвастаясь, какую прекрасную по ощущениям процедуру они прошли.

Мальчишкам-уголовникам очень даже нравилось, как они выражались, "поймать кайф", "побалдеть". К тому же женщины-врачи... О! Здесь врачи не брезговали ничем. — "Разве я тебе не нравлюсь?" — спрашивала, наклоняясь над обалдевшим парнем, буквально прижимаясь к нему, молодая Алла Ивановна. Говорят, Мария Сергеевна еще дальше шла, уговаривая: "Ну погладь мне грудь, ну погладь!"

"Кайф", должно быть, действительно был сильным: прошедшие растормозку долго потом хохотали в палате или в курилке, рассказывали взахлеб о пикантных подробностях своих разговоров с Аллой Ивановной или Марией Сергеевной ("А она меня... А я ее..."), глаза у них были безумные и счастливые.

Одну растормозку я наблюдал совсем близко. Ее делали моему соседу Тумору. Вечером, врач Алла Ивановна и медсестра Александра Павловна. Тумора завели в проце-

дурную, уложили на кушетку. Дверь притворили, но неплотно, в щелку я видел всю процедуру. Потом вышла Александра Павловна — пришлось отойти. Через несколько минут я снова заглянул, вот тут-то и видел собственными глазами описанную выше сцену. Алла Ивановна, склонившись над лежащим на кушетке и блаженно улыбающимся Тумором, держала его за руку и спрашивала:

— Так с кем ты был? Ну говори, говори! Разве ты мне не доверяешь? Разве я тебе не нравлюсь?

Неожиданно подошедшая Александра Павловна прогнала меня от двери и захлопнула ее наглухо.

После растормозки Тумор часа два сидел в туалете — прямо на полу между двумя унитазами — и рассказывал, громко хохоча, о своих ощущениях.

И другой безобразный метод, с которым я столкнулся в Институте Дураков, хотя он несколько иного плана и прямого отношения к обследованию не имеет. Спинномозговые пункции. Делал пункции институтский невропатолог, высокий, здоровый мужчина с пышной седой шевелюрой и волосатыми, обезьяньими, видно, очень сильными руками. Говорили, что он вонзал иглу в позвоночник больного не глядя, одним ударом.

Процедура спинномозговой пункции проводилась в отделении по определенному, окутанному некоторой торжественностью, ритуалу.

Накануне назначенного дня "избранных" мыли в ванне, им меняли белье, и они шли на операцию, как японские смертники-камикадзе, в чистых, белых рубашках. Утром, перед пункцией, их прекрасно кормили: молоко, колбаса... Потом, часов около одиннадцати, уводили куда-то, чтобы через полчаса-час привезти обратно, уже в лежачем положении, на столе-каталке. Наши "камикадзе" лежали на боку, не шевелясь, с гордыми и торжественными лицами, без рубашек, хребты их были густо вымазаны йодом. С каталок их снимали и перекладывали на койки, где они лежали в той же позе, не вставая, несколько часов. Даже курить им дозволялось в палате, и это было верхом почета и неприкасаемости. И еду

им давали в постель. Этой привилегией они пользовались в течение нескольких дней.

Володе Шумилину пункция была сделана неудачно. Видно, не туда все-таки ткнул свою иглу лихой костоправ. Вскоре, после того как его привезли в палату, у него начались непроизвольные подергивания ног. Смотреть на это было жутковато: ноги дергались, как у распятой на булавках лягушки, когда ее раздражают (невинный опыт медиков-первокурсников) электрическим током. Но он все равно улыбался белым, как мел, лицом и курил свою заслуженную сигарету...

"В ЧИСТОТЕ И ЧЕСТНОСТИ..."

"Мою жизнь и мое искусство я буду всегда сохранять в чистоте и честности..."

"Я буду всегда применять мои знания только на пользу и для излечения больных, но никогда не во вред или во зло для них..."

Я не знаю, произносили ли когда-нибудь клятву Гиппократа врачи института имени Сербского. Наверное, да, ведь сейчас в советских вузах будто бы вновь возрожден этот обычай. Да и старшие, возможно, тоже ощущают свою связь с этой гиппократовой ветвью.

Возможно, ощущает эту связь и "знаменитый" профессор Даниил Романович Лунц, доктор медицинских наук, уже много лет возглавляющий четвертое отделение в институте Сербского. Все до одного случая признания невменяемыми советских инакомыслящих прошли через его "чистые и честные руки".

А вот как познакомился с ним я. Однажды утром няньки тщательнее, чем всегда, прибрали палаты. Прибежала сестра — потыкала пальцем в паутину. Зэки-натуральщики налегли с утра на паркет.

И вот часов около одиннадцати в палату быстрыми шагами, почти бегом, влетел седовласый большеголовый человек в белом халате. Выпученными, а еще и увеличенными стеклами очков, глазами и вздутыми щеками он напоминал большого мопса. Он и влетел, как мопс, круто развернув-

шись на кривых ногах. Остановившись передо мной, с возгласом "Ну-с!" резко постучал правым указательным пальцем по левому, и звук был точь-в-точь такой, как если бы мопс, усевшись, постучал обрубок хвоста по полу.

Я встал. Незнакомец сквозь стекла очков буравил меня взглядом. Через некоторое время в палату также быстро вошла незнакомая женщина в очках, с тетрадкой в руках, а за ней — наша дневная сестра Женя.

— Вот это тот больной, Даниил Романович, о котором мы вам рассказывали, — сказала, запыхавшись, женщина с тетрадкой.

Я понял, что передо мной знаменитый Лунц. Мы стояли молча, уставившись друг другу в глаза.

— Вы окончили фармацевтический институт? — резко спросил он.

— Простите, но я не знаю, с кем говорю.

— Зовите меня Даниил Романович. Так какой фарминститут вы окончили? Московский? А еще вы окончили литературный институт?

— Чувствуется, вы знакомы с моей биографией.

— Кое что, кое что. Скажите, а кто был вашим творческим руководителем в институте?

— Вы же все равно его не знаете, — ответил я. — Сергей Александрович Поделков.

— Он больше, э-э-э, педагог, чем поэт?

Я заметил, что он не сводит глаз с моей руки. В левой руке у меня были очки, и, разговаривая с Лунцем, я машинально крутил их, держа за дужки. Я вспомнил утверждение Игоря, что такое произвольное, монотонное движение часто расценивается врачами как один из признаков шизофрении, и быстро оборвал его, скрестив руки на груди.

— Ну хорошо. Мы еще будем беседовать с вами. Часто и долго беседовать.

Лунц скрылся из палаты, сопровождаемый своей свитой. Они обошли и другие палаты, правда, ни у одной кровати не задержались так долго, как возле моей.

Позже я узнал, что это был первый обход Лунца, только что вышедшего на работу после поездки за границу. Кажет-

ся, в Венгрию. Что-то насаждал он там? Я думал: интересно, а в западные, в так называемые капстраны, он ездит? И уютно ли ему там? Это была моя первая и, по сути, единственная продолжительная встреча с ним. Никаких бесед, ни долгих, ни коротких, между нами так и не состоялось.

После его ухода в палате еще долго пахло собачьей шерстью.

ЖАНДАРМСКИЙ ПОЛКОВНИК ПОЛОТЕНЦЕВ...

В отделении появился новый больной, сразу привлечший всеобщее внимание. У него был почти лысый череп, а по груди текла длинная, почти до колен, черная, как воронье крыло, борода. Лицо с резкими, волевыми чертами, жесткое и красивое — холодной иудейской красотой. Этаким пророк Исая, если бы не безумный, злой взгляд из-под густых бровей. Его поместили в палату к Игорю Розовскому. И тот, конечно, прибежал поделиться с нами.

— А у нас святой в палате! Лежит вверх лицом и с Богом говорит!

Он и впрямь будто с Богом говорил. Ходил по коридору, устремив вперед и вверх невидящий взгляд и шевеля губами. Руки нес впереди, словно невидимую свечу. А голова — туго стянута вафельным, больничным полотенцем.

Сестры называли его Семеном Петровичем. А Игорь окрестил Полотенцевым...

— Видели кино "Необыкновенное лето?" — спрашивал он. — Помните, сходку в лесу? И одного там дергают за густую, длинную бороду: "Я узнал вас, жандармский полковник Полотенцев!" Борода и отвалилась!

Между тем, Семен Петрович стал захаживать в нашу палату. Войдет молча, прошагает к столу и усядется в окно на двадцатипятиэтажный дом напротив. Стоит так минут десять, беззвучно шевеля губами.

Однажды, когда Полотенцев стоял так у окна, я вдруг заметил, что он вовсе не в окно смотрит, а читает лежащую на столе газету! Я не поверил своим глазам. Но Полотенцев, незаметно взглянув на нас через плечо и будучи уверен, что

за ним никто не наблюдает, быстро, одним рывком передвинул газету, — так, чтобы удобнее было читать.

Позже мы установили, что он и в большую палату заходит вовсе не бессистемно, а лишь в то время, когда по радио передают последние известия. Или хорошую симфоническую музыку.

Все в отделении смотрели на Семена Петровича как на настоящего и серьезного больного. Держался он особняком, настороженно и пугливо. Шел, никого перед собой не замечая, словно сквозь стены. Великий Немой. Правда, он не то, чтобы совсем не говорил. Ну, например, няньке:

— Свет... Сестрица! Свет!

— Что, Семен Петрович, что милый? — всплакивалась нянька.

А у него лицо безумное, зрачки пляшут.

— Лампочка... Потушите! Свет! На голову давит! Свет!..

Еды никакой институтской не ел. Боялся, что отравят. Жена приносила ему богатые передачи, в основном, консервы.

Сестры говорили, что Семен Петрович второй раз лежит в их отделении, но он ничего не помнил.

— Семен Петрович! — говорила какая-нибудь. — Здравствуй!

— Нет! Нет! — дико вскидывался Полотенцев и загораживался руками. — Кто вы? Я вас не знаю!

После отъезда моего соседа Асташичева чернобородый "пророк" был переведен в нашу палату, на его место. Лежал так же молча, окаменело, воздев вверх глаза, на нас не реагируя. А мы, будучи уверены, что он не слышит и ничего не усваивает, не уставали злословить. Пока однажды вечером, когда я уже разобрал постель, а Володя вышел на перекур, лежавший на своей койке Семен Петрович, все так же глядя в потолок, вдруг отчетливо не произнес:

— Виктор Александрович, зачем вы дружили с этой размазней? Злословили неумно... Уж от вас я этого не ожидал.

У меня отнялся язык. Немой заговорил! Это было так же неожиданно, как если бы заговорили стены.

ВРАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ

Спустимся ниже по иерархической лестнице отделения... Врачи, имеющие ученые степени. Их четверо: Любовь Иосифовна Табакова, Альфред Абдулович Азаматов, Светлана Макаровна (фамилии точно не знаю, кажется, Печерникова) и Альберт Александрович Фокин. Фамилии их я все-таки узнал и перечислил в той последовательности, в которой они различались по степени значимости. Здесь, видимо, учитывались возраст, опыт и доверие начальства.

Кстати, только эта ученая четверка и допускалась, как я понял, к обследованию заключенных с политическими статьями.

Итак, уже упомянутая мной Любовь Иосифовна Табакова, мой лечащий врач, моя "психиатрическая судьба"... Не могу сказать, что чем-то выделялось, западало в память ее красивое и усталое лицо — лицо смазливой буфетчицы из какого-нибудь павильона "Русский чай". Да и вообще я не видел в институте Сербского среди женщин-врачей сколь-нибудь интеллектуальных, несущих на себе отсвет науки лиц, какие иногда встречаешь в институтах и клиниках столицы.

Были это обычные, лишь покрасивей или подурней примелькавшие женщины, каких видим ежечасно в любом автобусе, магазине, метро. Щеголяли друг перед другом обновами, поскрипывали по коридору новыми сапогами на платформе, пробегали с электрочайничком в обеденный перерыв... И если и была на их лицах печать, которая, может быть, и отличала их от ученых коллег в клиниках или вузах, так это лишь печать равнодушия и апатии. Какая-то неодолимая скука была написана на всех этих лицах.

Любовь Иосифовна вечно куда-то торопилась.

— Ну, мы еще поговорим с вами!..

— С завтрашнего дня мы будем часто беседовать, часто!..

Таковыми "завтраками" врачи ежедневно кормили своих поднадзорных.

В разговорах Любовь Иосифовна была мягка, корректна. Голос грудной, негромкий. Но была она обидчива и злопамятна.

— Что вы меня учите! — вспыхнула однажды. — Что вы вопросы задаете? Это я должна их задавать. А вы — отвечать, как положено!

— Я психиатр с двадцатилетним стажем и знаю, что делаю! — почти перешла она на крик в другой раз.

Однажды я видел, как вывели прапорщики из "политического" бокса какого-то зэка в синем халате — исхудалого, кожа да кости (может быть, голодовку объявлял?), с пергаментным, неживым лицом... Правда, глаза были полны ненависти, и какая-то улыбка презрения была в них. Его вели в процедурную, явно на укол. Сзади семенила с искаженным от злобы лицом "мягкая", "женственная" Любовь Иосифовна. Скрылись все в процедурной на несколько минут... Только какая-то возня доносилась оттуда. Потом, безжизненного, проволокли его к выходу, очевидно, в карцер, и так же семенила за ним Табакова — распаренная, слепая...

...Альфред Абдулович Азаматов — невысокий, тихий, плавный. Он тоже, проходя по коридору, всегда здоровался со мною мягким полупоклоном. И смоляная татарская прядь падала в эту минуту на его скульптурное остзейское лицо. Правда, некто Роман Фин писал, что у Альфреда Абдуловича лицо палача-изувера...

Роман Фин — биолог из пущинского академгородка, который написал "пасквиль" о моральном кодексе коммунизма, и которого на основании этого "бредового" сочинения признали в 1971 году психически больным и швырнули в Орловскую спецпсихбольницу.

То же самое в 1969 году Азаматов сделал с Владимиром Гершуни... В 1970 — с Петром Старчиком. И совсем недавно, в 1975, — с Вячеславом Игруновым...

Светлана Макаровна — воплощенная женственность. Европейская холеная красота. "Белокурая Софи", — звал ее Игорь Розовский, и зэки, когда она шла по коридору, провожали ее восхищенными взглядами. Был у нее сын Максимка, в котором она не чаяла души. Сестры и няньки рассказывали, что она нежная мать. Но именно она, эта нежная мать, выписала путевку в дурдом правдолюбцу-неудачнику Ване Радикову.

И точно такого же правдолюбца, как Радиков, Михаила Кукобаки, отправил в 1970 году в психиатрический застеноч молодой, изящный и самоуверенный кандидат медицинских наук Альберт Александрович Фокин. "Вина" Михаила Кукобаки, рабочего Александровского радиозавода, состояла в том, что он... отказался участвовать в "самых демократических и самых народных" выборах...

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Психологическое обследование было вершиной, кульминацией психиатрической экспертизы в институте имени Сербского. Оно да энцефалограмма — вот, пожалуй, и все запоминающиеся методы. Ничего больше не было в этом знаменитом, разрекламированном научно-исследовательском учреждении — никаких изящных экспериментов, никакой хитрой и тонкой техники, никакой выдающейся, на уровне века, науки. И судьба наша, таким образом, зависела от суждения наших врачей.

Основное представление о психическом состоянии порученного ему зэка врач получал из уголовного дела. Хотя и не должен бы, вроде, получать. Но врачи не утруждали себя первоиском — они брали за факт полученные, а иногда и стасованные следователем, сведения и строили из них свою модель.

...Ага, в школе учился плохо? Оставался на второй год? — психическая аномалия.

...Ах, с тещей ссорился? Грозил, как она показывает, ей "уши отрезать"? — О, это уже мания, агрессивный бред.

Расскажу о своем деле — анекдотичный, но характерный факт. Следователь Владимирской областной прокуратуры Дмитриевский поехал после моего ареста на Украину, в город Умань, где я жил свыше трех лет назад. Допрашивал там многих, в том числе директора витаминного завода, на котором я работал, М.Ф. Чернявского. Последний, сводя счеты, рассказывал обо мне всякую несусветицу. В том числе (это записано в протоколе его допроса от 21.VIII.1973 года) сказал вдруг следующее:

"Мне говорила Костенко, что Некипелов приглашал ее на вечера свободной любви".

Тут необходимо некоторое пояснение.

Когда-то, в 1969 году, в день 8 марта, я прочел на небольшом банкете в заводской лаборатории, где тогда работал, несколько своих стихотворений. В том числе "Кизиловый лес", — лирические, интимные стихи:

**...Мы вышли б, наверно, на берег иной,
чего-то навек не умея,
но ты — наступаешь босою пятой
на скрытого в ягодах змея!**

**Мы падаем вместе, сплетаясь в одно,
в пуховую алость кизила.
О нет, мы не блудим, — мы давим вино
для тайного, светлого мира!**

Об этом моем выступлении, конечно, тотчас донесли директору. А у нас с ним уже назревал конфликт на почве моего неприятия показухи и очковтирательства на заводе, и Чернявский копил "криминал". Вот и эти стихи были туда занесены. Он так их потом интерпретировал, выступая на каком-то собрании: "Некипелов пропагандирует свободную любовь!"

Слово было произнесено, заметьте: "С в о б о д н а я л ю б о в ь". Это 1969 год. А 21.VIII.1973 года, в разговоре со следователем, Чернявский идет дальше: "Мне говорила Костенко, что Некипелов приглашал ее на вечера свободной любви".

Следователь заинтересовался. "Вечера свободной любви!" Разумеется же что-то недозволенное, непотребное, а может быть... и психически ненормальное?

24.VIII.1973 года он допрашивает Л.И. Васильеву, работницу заводской лаборатории, мою бывшую сослуживицу. В ее протоколе — "Да, я что-то слышала о вечерах свободной любви".

В тот же день допрашивается А.С. Костенко, тоже работница лаборатории и моя соседка по квартире. Запись: "О вечерах свободной любви с сухим вином я знаю от Петрович, но Некипелов меня туда никогда не приглашал".

Круг замкнулся. Ничего конкретного выяснить не удалось, "очевидца" не отыскали. Но слово осталось, да еще обросло некими пикантными подробностями вроде "сухого вина". И диффамация, конечно, осталась.

И вот, не веря своим глазам, читаю в заключении первой, амбулаторной психиатрической экспертизы (в городе Владимире, 14.IX.1973 года): "Некипелов принимал участие в вечерах свободной любви с сухим вином".

Думаете, на этом кончилось? Мой врач Любовь Иосифовна тоже проявила живейший интерес к практике "свободной любви". Я рассмеялся ей в лицо. Тем не менее, "вечера свободной любви с сухим вином" перекочевали и в акт экспертизы института имени Сербского.

А я и по сей день не знаю, что же это за вечера?

Иногда врачи вызывали на беседы родственников заключенного: жену, мать. Это касалось в основном москвичей или подмосковных. Вызывали жену Игоря, маму Яцунова. Хотела Любовь Иосифовна вызвать мою тещу, но я не дал адреса. Предлагал вместо нее вызвать жену (хотелось, чтоб Нина увидела эту психиатрическую даму), но Любовь Иосифовна сказала, что это невозможно.

Последним, очень существенным из субъективных методов был надзор — постоянный и неприметный — со стороны среднего медперсонала и, главное, нянек. О, это были неусыпные и бдительные стражи, глаз и ухо врача (а значит, и государства), и случалось, что они говорили то последнее "да" или "нет", которое врачи лишь облекали потом в научную форму. Трудно, конечно, представить, что эти полуграмотные, невежественные тетеньки держали в руках наши судьбы, поставляя материал для "самой передовой в мире" науки. Но что сделать? Ведь все это, в конечном счете, тоже явление государственной психологии, государственных установок, доношительство в нашей стране всегда было делом государственным.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ. ВИНОВНЫ ЛИ ВРАЧИ?

Особым было положение в институте имени Сербского у так называемых политических заключенных.

— Хотите вы этого, или не хотите, Виктор Александрович, но вас все равно признают, — говорил мне Семен Петрович, и устами этого "чернобородого пророка", увы, гласила истина...

Признание меня здоровым — тот удивительный факт, что советская "психиатрическая акула", уже почти проглотив, вдруг меня выплюнула, я считаю нетипичным. Просто я попал в очень благоприятный момент. Случись вся эта история на год, на полгода раньше — и ухнул бы я в ее черное, смрадное брюхо.

Да, случаев, подобных моему, в недавнем прошлом почти не бывало.

В своем большинстве такие, как я, оставались в акульем брюхе. И не дрожали при этом руки у врачей и научных сотрудников института Сербского. А почему не дрожали? Одни ли директивы сверху довлели над ними? Или были еще какие-то свои, специфические причины? И что вообще руководило ими? В чем виновны, а в чем не виновны эти люди?

И вот, когда вдумываешься, пытаешься понять их психологию и мотивы, приходишь к выводу, что не все здесь просто.

Ну, во-первых, сама научная концепция, трактовка шизофрении. Особенно учение о вяло текущей форме, — весь этот симптоматический шаблон, созданный профессором Снежневским, этим Лысенко в психиатрии. Казалось бы, порочность, ненаучность этих концепций, широко и авторитетно отвергаемых западной психиатрией, очевидна. Но ведь для советских врачей они — руководство в повседневной работе. И в этот широкий, расплывчатый шаблон легко может быть втиснут любой случай нашего инакомыслия. "Нешаблонность мышления", "повышенный интерес к общественным и политическим проблемам", "склонность к конфликтным ситуациям", — вдумайтесь в эти симптомы. И далее: "склонность к реформаторству", "бред правдоискательства", "бред оппозиции", "мания антикоммунизма" и т.п. Все это — из наших психиатрических характеристик, и все мы, конечно, — больны...

Тем более, вяло текущая шизофрения, как уверяет про-

фессор Снежневский, в обычных условиях (о прекрасная способность!) может вообще никак не проявляться.

И врачи-исполнители, практики — сбиты, обескуражены, они, естественно, не могут не поставить "диагноза" там, где он налицо.

Большую помощь им оказываем мы сами. Я не оговорился. Вторым, и очень существенным фактором для признания нас — здоровых — психически больными, является собственное наше поведение на следствии и экспертизе, наша, так сказать, психологическая модель.

Конечно, эта "модель" является прямой противоположностью той привычной, уголовной модели, с которой врачи института чаще всего имеют дело. Те — понятные. Они знают, чего хотят, доверчивы, откровенны, смотрят врачам в рот, не спорят, не бунтуют, не качают прав... В общем, это хоть и преступная, но — материалистическая, человеческая и, как говорили еще не так давно, "социально-близкая" психология. Вот ее-то и имел в виду П. Григоренко, когда говорил об одном из врачей института Сербского Маргарите Феликсовне Мальпе, об отсутствии контакта с нею. "Я взглянул на нее и понял, что для нее любой мой ответ бесполезен, что для нее человек, идущий на материальные жертвы, невменяем, какими бы высокими побуждениями он ни руководствовался при этом".

Налицо была "антимодель", что стучалась не сюда, а обратно, которая размышляла, боролась, не сдавалась. И уже по одному этому была психической аномалией, отклонением от нормы, болезнью. Если ты пишешь протесты, утверждаешь, что надо печатать Солженицына, что в СССР нет свободы, если ты не идешь на выборы, клеишь листовки, требуешь в тюрьму Библию, — ты невменяем! А твое поведение на следствии! Что? Отказы от участия? Ни одного заполненного протокола в деле? Невменяем!

— Виктор Александрович! Вот вы так не хотите, боитесь признания, а в то же время все делаете для того, чтобы вас признали. Почему это? — допытывалась у меня Любовь Иосифовна.

Так что же я хочу сказать? Что всему виной было непони-

мание, и правы, по сути, обе стороны, а врачи в таком случае, в особенности рядовые, — не виновны? Ответствен ли солдат за преступные приказы военачальника? И вообще, вина ли — инертность мышления, верность догматическим шаблонам, невозможность постичь до конца нашу психологию?

Нет, не снять вины с врачей, не серая они скотинка, и культура не та, и интеллект...

Врачи института имени Сербского ведали, что творят. И не в безвоздушном пространстве они жили — не могли не знать о международных протестах против психиатрических репрессий в СССР. Пусть легко укладывались наблюдаемые "симптомы" в шаблон Снежневского и Лунца, пусть смущало поведение этих непонятных узников, и все же обязан ты, если действительно хочешь остаться "в чистоте и честности", — сказать "нет", "не болен", но не сказать "да". И уж в крайнем случае — уйти, устранившись, оставить этот позорный тюремный институт.

Нет, не ушли они. Уже одним фактом работы в государственном репрессивном учреждении, в тюремном ведомстве, они не только преступали клятву Гиппократы. Они шли дальше — на сознательное сотрудничество с системой террора, срастались с ней, становились ее частью, ее смертоносными щупальцами.

ТОСКА. СПОРЫ С ПОЛОТЕНЦЕВЫМ

Не текли — ползли медленно и вяло дни и часы моего срока. Они не были богаты внешними событиями, но внутренне — насыщены и напряжены.

Во-первых, пришла тоска. Почему-то стало чаще думать о доме, о Нине, о ребятах, причем как о чем-то удаляющемся, потерянном безнадежно. Раньше так не было.

Часто болело сердце, и я то и дело ходил пить корвалол. Появилась апатия. Я почти перестал играть в шахматы, стал мало читать. А если читал — ловил себя на том, что не вникаю в суть: гляжу в книгу, а думаю о своем. Особенно тошно стало после отъезда Розовского.

Вместе с тоской откуда-то изнутри стало подкрадываться и сомнение. Пусть не в крайней форме, не в плане пересмотра убеждений, но зацарапали какие-то острые коготки. А все ли было правильно сделано?.. Как глупо и неосторожно себя вел перед арестом... Вот стихи эти про нагорных и подгорных свиней написал, зачем? И еще: верно ли, что отказался от участия в следствии? Много было передумано в эти бесконечные часы.

И сильнее всех бережил раны "пророк" Полотенцев. Намолчавшись за долгие месяцы, он говорил без умолку. Говорил именно тогда, когда мне больше всего хотелось молчать. Говорил он, правда, только со мной и Володей Шумилиным, оглядываясь на дверь, продолжая оставаться для всех остальных окаменелым, безумным Семеном Петровичем. Это был очень культурный, образованный человек, буквально давивший меня своей эрудицией, а главное, обладавший удивительной, я бы сказал, магнетической силой убеждения. По образованию он был экономист, окончил институт в Киеве. Себя скромно называл "коммерсантом".

Статья у него была та же, что и у Володи Шумилина (социалистическое государство не любит негоциантов), только размах не тот, этак раз в десять больше. Причем уж он-то знал, что куда приложить. И если у Шумилина цель была — "уничтожить" деньги, то у Семена Петровича — их растить. Работал он где-то в системе Внешторгбанка, впрочем, я могу и ошибиться, так как рассказывал он о себе неохотно. Знаю только, что после ареста сидел во внутренней тюрьме КГБ на Лубянке (а туда простых смертных не сажают). Скитался по психиатричкам чуть ли не два года. Вот и в Сербского второй раз попал.

Мы спорили с Полотенцевым буквально по каждому поводу. Это было чуждое, даже враждебное мне мировоззрение, мы просто жили в разных измерениях. Не могу сказать, что это мировоззрение было оригинально, и мне внове, но я никогда еще не встречался с его "идеологом" вплотную. Раньше я знал о его существовании, главным образом, по плохим советским книгам. Теперь же это мировоззрение

"клокотало" — да еще с какой вулканической силой — на расстоянии вытянутой руки от меня.

Полотенцев исповедовал культ силы во всех ее проявлениях: сильной личности, сильной крови (даже так), сильной идеи, сильной власти, сильной нации, сильной расы. Во имя движения к господству такой силы оправдывалось все. "Моя нравственность — воля", — говорил Семен Петрович. — Или: — в этом мире все покупается и все продается.

— Нет, не все, Семен Петрович, — возражал я. — Не все берется деньгами. Так же, как и силой. — И приводил примеры великих бесребреников.

— А-а! Мало дали! — рубил в ответ Полотенцев.

Идеалом сильной личности Семен Петрович считал Наполеона. Его боготворил, прекрасно знал историю наполеоновской империи. Идеал государства видел в крепком, по возможности мононациональном устройстве с централизованной властью в лице сильного управителя, монарха или диктатора. В этом плане ценил Сталина, Гитлера, в современном мире — Фервуда, Пиночета. Демократию для всех — отвергал.

— Русскому народу — демократию? Вы представляете, что из этого получится? — говорил он. — Вы что, серьезно, верите в так называемый народ, в это тупое, послушное, отравленное алкоголем стадо? Да ему нужна узда, вечное и прочное ярмо, он сам его на себя напялит, он не может без него, привык!..

Особенно жарко мы спорили о нациях. Он, еврей, считал русскую нацию сильной и отсюда выводил ее абсолютное право на государственное подчинение и постепенное поглощение всех других.

Многие народы в составе СССР считал "неполноценными", отсталыми биологически, в том числе казахов, узбеков, кавказцев, северные народности. Он оправдывал политический геноцид Сталина (например, по отношению к крымским татарам, немцам Поволжья). И расовый — Гитлера. Даже по отношению к евреям... Тут я не выдержал, заявил Семену Петровичу, что он расист. И потому я прекращаю с ним всякие отношения. Действительно, несколько дней мы провели

молча, по своим кроватям. Потом он извинился за резкость, и наши споры возобновились.

Другим пунктом преткновения был вопрос женской свободы... Полотенцев основывался на евангельском "да убоится жена мужа своего", поддерживал немецкую триаду "Kinder—Küche—Kirche", смотрел на женщину как на существо второстепенное, подчиненное мужчине и целиком от него зависящее.

Споры эти были бесконечны и безнадежны, они изнуряли меня, хотелось вырваться, уйти от них, но каждый раз я увлекался, вспыхивал и вновь оказывался втянутым. Надо сказать, что Полотенцев умел это делать. И говорить с ним было тяжело: он просто физически давил на собеседника и не только подбором аргументов, но самой формой их поднесения, безапелляционными интонациями речи, а главное, — неколебимой убежденностью в своей правоте.

МОЙ МЕФИСТОФЕЛЬ. ВТОРАЯ ГЛАВА О ПОЛОТЕНЦЕВЕ

Много горьких, но, увы, верных слов высказал Семен Петрович в адрес демократического движения последних лет. Он как-то очень быстро различил и понял все его трещины. Мы говорили о Петре Якире, недавний процесс над которым все еще глухой болью отдавался во мне.

— Как вы могли им верить, Красину и Якиру, этим маленьким честолюбцам, рядящимся в вожди? — спрашивал Семен Петрович, и я чувствовал, что мне нечем ему возразить.

— Якир много сделал... — говорил я. — Он был первым, кто начал открытую борьбу против деспотии. Инициативная группа... "Хроника текущих событий"...

— Ерунда! — рубил Полотенцев. — Наивные и доверчивые люди. Он просто использовал всех вас в своих честолюбивых целях. И не думал о людях, защиту прав которых провозглашал. Политикан!

Как-то между делом я рассказал Семену Петровичу об образе жизни Петра Якира и его окружении, о тягучих его попойках, о нескольких своих встречах с ним, оставивших на душе тяжкий осадок.

— Х-х-а! — резюмировал Полотенцев. — Ну, что я говорил?! Он просто морально опустившаяся личность, а вы... боготворили его. А он и предал вас, когда настал час. Да такой и не мог поступить иначе. Нет, не может пьяница и слюняй вести людей. Он и вокруг плодил слюняев. Вообще, что за методы у вас? Письма протеста! Коллективные, с адресами, голову в петлю! Да что за бравада, что за донкихотство! Вот вы сами... Гордый отказ от следствия! Бумажку какую-то Лунцу недавно вручили... Ах, протест?! Глупости, детский сад! Нет, вы меня простите, я, конечно, не политик, я простой коммерсант. Но поверьте: ведь там смеются над вами! Вы просто самоубийцы, забывшие элементарную осторожность, элементарную конспирацию.

— Вы не понимаете, Семен Петрович. Это же не политическая борьба, это движение чисто этическое, нравственное. Люди выступают за свои права, они устали от лжи и немоты. Да, они понимают, что поступают порой неразумно, непрактично, но они — другие в чем-то, они... просто не могут иначе.

— Ах, оставьте! Никакие они не другие, если, тем более, что-то понимают. И все ваши разговоры о нравственности — не что иное как завуалированное честолюбие. Да, да, все вы честолюбцы. Только есть доверчивые простаки-самосажатели, а есть бесы, вроде Красина и Якира. И любое, так называемое нравственное, этическое движение, как бы ни бахвалилось оно своей чистотой, в основе всегда есть движение политическое, это доказано историей. Всех времен! Поэтому отбросьте свое донкихотство и будьте политиком. Разумным и трезвым. Или, — если не можете, — уйдите совсем. Зачем вам себя губить ни за грош?

Вот такие монологи "падали мне на темя" почти каждый день.

— А почему вы так боитесь признания вас психически больным? — спросил однажды Семен Петрович. — Кстати, вас ведь все равно признают, хотите вы этого, или нет. Такая у вас статья. Но мне кажется, это для вас — лучший исход, чем лагерь. Там вы с вашим характером, с вашей "нравственностью", можете и второй срок намотать. Да вы еще и первр-

го не знаете! Ведь могут запросто переквалифицировать на семидесятую статью. Вам же обещали... Нет, вы не бойтесь психбольницы. Уверю вас — выйдете в два-три раза быстрее. Да один только факт суда над вами, этого... "открытого народного суда!" Вы представляете себе эту картину? О нет! Нет. Я вот себе говорю: "Чтобы эти обезьяны меня судили? Ни за что!"

— Но, Семен Петрович, вы забываете, что это будет спецпсихбольница.

— Это не обязательно. Но даже если будет. Это же все равно больница! Ну только... вместо палат — камеры. Нет, не бойтесь, поверьте личному опыту.

— Ну, а принудление? Меня же будут лечить!

— И это не страшно. Знаете, сколько я за эти годы аминазина и трифтазина съел? Ну и что? Важно настроить свою волю. Разве похож я на больного человека? Кроме того, вас могут и не лечить, не всех политических лечат.

И так изо дня в день. Признаюсь, эти речи сделали свое: я стал вдруг думать, что мое признание (которое я считал решенным) и правда будет наилучшим исходом. Да, и это было самое удивительное, — я в о з ж е л а л! Я — знавший так много об этой жуткой юдоли, я — так страстно негодовавший по поводу заточения в психиатрический ад моего друга Лени Плюща, — вдруг сам, согнув голову, готов был шагнуть к этому аду! Приползали маленькие, липкие мысли: ведь у меня сердце больное, а там все-таки врачи... питание там, конечно, лучше, как-никак больничка, молоко дают!.. А может, и правда, ужогу не в спец, а в простую больницу... во Владимире... Нина будет ходить...

Может быть, не нужно о таком в этих записках? Но тогда — распадается картина, утаивается что-то, и я — уже не я...

Я так и не знаю, что представлял собой этот Семен Петрович, мой чернобородый искуситель с обмотанной полотенцем головой... Почему-то мне тяжело чертить этот портрет — он расплывается, бежит, как изображение на воде, уходит из рук и глаз. Если я четко вижу перед собой лица Игоря Розовского, Вити Яцунова, деда Никуйко, всех моих долгих и коротких сожителей по психиатрической Итаке, то образ Семе-

на Петровича видится как бы сквозь зыбкий, качающийся флер. А чаще я просто слышу его голос — один, отделившийся от тела голос, причем звучит он не где-то над ухом, а внутри меня, в глубине... Я прошу прощения за мистику, но во всем облике Семена Петровича, начиная от голого, как колесо, черепа и ассирийской бороды и вплоть до его гипнотических пророчеств, была какая-то трансцендентность, потусторонность. И я думаю иногда: а был ли он наяву, этот психиатрический Мефистофель, не приснился ли во сне, не пришел ли в бреду?

Ну, а если отбросить мистику, серьезно? Вот он лежит напротив меня, выставив из фланелевых больничных панталон волосатые ноги, и говорит, говорит, качая на бороде застрявшие на завтраке хлебные крошки... Он говорил о музыке, о своем любимом Вагнере,

Я думаю, Семен Петрович был действительно больным человеком. Может быть, самым больным в отделении, хотя — свидетельствую — не было более здравомыслящего среди всех нас. Видимо, это и была так называемая шизофрения в полном блеске своих регалий. Но что такое шизофрения тогда?

А мистика все-таки была. В том, что он угадал и прочел мои мысли, и сам он был как бы моим материализованным сомнением, воплощением моих тревог, уставшей и больной половиной моей души, которая поддалась на какой-то момент скепсису и смятению.

Все равно в чем-то я благодарен судьбе за встречу с этим странным человеком. Это были мое сомнение, мой искус, и я должен был встретиться с ними лицом к лицу. Хотя бы для того, чтобы их одолеть.

— Как вы там, Семен Петрович? Где вы?

Он усмехается в ответ, прячет лицо в текучую свою бороду, тускнеет, исчезает. И как подтверждение его ирреальности: вот уже несколько раз, вернувшись из лагеря, пытаюсь найти его — хотя бы адрес, хотя бы след — через "Мосгорсправку". Фамилию даю, имя, отчество, год рождения примерно... главное — улицу даю, где жил! А в ответ неизменное:

— Нет. Не числится. Не проживает...

"ВО ИМЯ ИСТИНЫ..."

А может быть, все было не так? Почему на этого трансцендентного Семена Петровича я вроде бы перекладываю вину за свои сомнения? Может быть, есть им иное, более "материалистическое" объяснение?

Тут я подхожу к одному, в некотором роде деликатному вопросу... Конечно, все это предположения, догадки, но не затронуть этот вопрос, коли он возник, — не могу.

Спустя добрых полгода после описываемых событий, находясь в Юрьевецком лагере и получив свое первое двухдневное свидание с Ниной, я на нем рассказывал ей о своей одиссее. В том числе и об институте Сербского, о Семене Петровиче, об этих, только что описанных смятениях... И Нина, выслушав мой рассказ, вдруг спросила:

— А не давали ли тебе какой-нибудь препарат? Ну что-нибудь расслабляющее волю, способствующее откровению, пересмотру позиций?

Ведь и правда? Почему я сразу не подумал об этом?

Сухость во рту! Этот, так помучивший меня в институте симптом, заставивший даже думать о диабете! В конце концов меня осмотрел терапевт, сделали анализы и не нашли никакого диабета. Что же тогда?

Сохнет во рту от приема многих лекарств, в том числе нейролептиков. И я думаю: врачи, которых так смущала моя "напряженность", просто-напросто могли назначить мне какой-нибудь "растормаживающий" препарат. Техника? Всыпать порошок в предназначенную мне тарелку — не составляло никакого труда. И главное, все совпадает... Впервые я ощутил сухость во рту двадцатого февраля, то есть сразу после моей первой, безрезультатной для них комиссии. После того, как мы с Шумилиным остались в палате вдвоем. Тарелку мне — тарелку ему, все так просто. Может быть, поэтому к нам в палату и не подсадили никого, хотя были свободные койки, и многие просили. А когда остался один Полотенцев, для манипуляций еще проще стало, ведь он за столом вообще ничего не ел.

И моя "растормозка" тоже где-то с этого числа началась...

А когда это я разоткровенничался с Любовью Иосифовной? Ну конечно, двадцать пятого февраля! И тоска моя, и сомненья — все тогда, тогда. Ну, а Полотенцев только ускорил, помог, стал своеобразным катализатором.

В пользу этой версии говорят и другие симптомы. Например, частые головные боли. В большой палате не было, а тут то и дело ходил к сестрам "тройчатку" просить. Еще апатия, вялость... А эта тоска, сжимавшая сердце? А разбегающиеся мысли, невозможность сосредоточиться при чтении?..

Сухость во рту как рукой сняло в Бутырке, после первой миски баланды. Несколько позже, постепенно, вернулись энергия мысли, желание и возможность читать, ушли апатия и тоска. И сомнений не стало, все как на ладони, четко и хорошо. Вот теперь бы мне поспорить с Полотенцевым!

В общем, не могу я сказать "нет" Нининой версии. Вполне могло быть. Наверное, и было. В конце концов, институт "научно-исследовательский". А что касается моральной стороны дела, то ведь наши врачи — "классовые врачи". Тем более, в институте Сербского. Где "во имя истины" (читай: в интересах государства) могли быть применены любые методы, вплоть до "растормозок". До "наседок". Да мало ли, чего я еще не знаю.

ПРОГУЛКА. БОЛЕЗНЬ

Первого марта состоялась, наконец, долгожданная прогулка. Полтора месяца взаперти, без глотка свежего воздуха, без живого контакта с ветром, небом, облаками. Полтора месяца упорной "траншейной" войны за этот живой глоток. Можно ли передать чувства, охватившие меня в столь долгожданный час! Но каково же было мое удивление, когда обнаружилось, что желающих пойти на прогулку раз-два и обчелся! Я, Выскочков... ну еще человека четыре-пять. Это из двадцати шести! О, извечная косность уголовной натуры, тяга к покою и теплоте углу. Я это и в следственной тюрьме во Владимире ежедневно наблюдал: люди, особенно молодежь, не хотели выходить из вонючих, прокуренных камер, вертухаям иногда приходилось чуть ли не пинками выгонять зэков на прогулку.

— Вот политические всегда за прогулку, всегда ее требуют, — сказал кто-то из ээков. — Хоть дождь, хоть снег.

Медсестра Анна Андреевна, нянька и вертухай-"прометей" повели нас по лестницам. Где-то в подвале, в крошечной каморке-раздевалке каждому выдали стоптанные "коцы" (башмаки) без шнурков, рваные ватники и шапки. Мне достался выщипанный рыжий треух образца двадцатых годов и совершенно неприличная, мазутная телогрейка.

Дранные, как беспризорники времен гражданской войны, мы вышли на прогулочный двор — в мартовскую капель, в воробьиную многоголосицу, в ломкую, уже почти весеннюю голубизну.

Мы ходили по кругу и, как говорят в стране ГУЛаг, "балдели": лопотали что-то невпопад, смеялись беспричинно и — дышали, дышали!

К сожалению, прогулка эта вышла для меня боком: отвыкший организм немедленно среагировал простудой, и на следующий день я слег с температурой. А еще через пару дней заломило лоб, скулы — начался гайморит. Болезнь как-то совсем расслабила меня. Переполошилась и Любовь Иосифовна: примчалась тут же — пощупала мне лоб, назначила УВЧ. Пятого марта, оказывается, должна была состояться комиссия, а теперь придется ее отложить.

И это сообщение, вместо того, чтобы обрадовать, усилило тоску. Я понимал, что досрочная комиссия могла означать лишь то, что меня не признают больным, хотя Семен Петрович, мой "демон-искуситель", шептал мне в уши, что признание — это хорошо, хорошо...

Вот так, возмечтав о психиатрическом "рае", я боялся теперь потерять его... Медленно ползли, тянулись эти последние дни.

Четвертого марта простились с Володей Шумилиным. Полотенцев совсем распоясался, все труднее было противостоять ему. В палату стал заходить недавно появившийся в отделении Валентин Федулов, художник с "Мосфильма", севший за какую-то драку. Это был тихий, деликатный молодой человек с красивой улыбкой и серыми "рублевскими" глазами. Рисовал он очень неплохо, и эзки наперебой осаждали его заказа-

ми. Еще до отъезда Володи Шумилина он сделал (по совету Семена Петровича, для будущих "предвыборных" плакатов) его портрет. В руках у Володи был денежный банкнот, и он смотрел на него, как Гамлет на череп бедного Йорика — туманным и мудрым взором. Сделал Валентин и мой портрет. Вот он лежит сейчас передо мной — карандашный рисунок на листке ватмана с датой 9.03.1974 года и с авторским факсимиле... Конечно, я не очень похож, художник как-то утяжелил черты, но вместе с тем, в глазах, в тревожных складках у рта — есть что-то от моей смуты и усталости тех дней.

Валентин делал и другие, сюрреалистические, рисунки. Например, по моему заказу, — "Сомнение", этот рисунок и сейчас у меня: хороший, напряженный, жутковатый. Это — согнувшийся от внутренней натуги человек, между рук которого, в пустой, черной груди — большое, натуральное, в жилах сосудов сердце (его сердце), вокруг которого обвилась змея. Человек давит змеем, пытается оторвать, но он делает это как-то нерешительно, отрывает любя, лаская. Это ведь его змея, его сомнение. А из груди, над сердцем — два призрачных, больших, устремленных в Никуда глаза... Встретив одобрение со стороны ээков, Валентин стал делать и более страшные рисунки. Скелеты, гробы, змеи, сосущие мозг и т.п.

— А я так вижу, — говорил он, мило улыбаясь, своей врачихе Алле Ивановне.

Где-то числа десятого марта, оправившись от простуды, я устроил, по просьбе Валентина и нового моего знакомого Саши Мозжечкова, "литературный вечер" — почитал свои стихи. Валентину это был как бы "гонорар" за рисунки. Понравилось. Некоторые стихи я выписал им на память: "Таити", "Эвкалипты в Крыму", "В прогулочном дворике".

Вот так текли мои последние дни в Институте Дураков. А за окнами искрился март, бряцали сосульки, и голуби на карнизе заводили свой весенний кавардак. Жизнь продолжалась, томила и звала вперед...

12 МАРТА 1974 ГОДА. ПОСЛЕДНЯЯ КОМИССИЯ

И вот, наконец, 12 марта. Солнышка сегодня нет, день пасмурный. Серая скука вокруг. Как всегда, занимаюсь гимнастикой, умываюсь до пояса. Завтрак почему-то запаздывает — какой-то ремонт котлов на кухне. Наконец, приносят жиденькое какао и овсяную кашу-"геркулес". Последний раз вкушаю эту пищу богов. Полотенцев, как всегда, от казенной пищи отказывается.

— Нет, нет! Я боюсь! Я свое!

Тотчас после завтрака за мной приходит Анна Андреевна.

— Давайте на комиссию. Готовы?

И вот я в третий раз в "актовой" комнате, перед высшим психиатрическим конклавом 4 отделения. На председательском месте теперь сидит белесый мужчина лет пятидесяти, с гладкими, зализанными назад волосами. Слева, рядом с ним, — мой прошлый председатель Боброва. Меня усаживают на то же место. За столом напротив, только на этот раз далеко, как бы демонстративно отодвинувшись, оттолкнувшись от меня, сидит Лунц, рядом с ним Табакова. Переговариваются, меня не замечая. В отделении Маргарита Феликсовна, Альфред Абдулович, Светлана Макаровна. Еще присутствует Альберт Александрович Фокин.

Вся процедура длится 5-10 минут. Председательствующий спрашивает о самочувствии. Я, как всегда, уточняю: с кем имею честь? И впервые слышу ответ.

— Моя фамилия Качаев.

Следует несколько каких-то бесцветных вопросов с его стороны. Ни Лунц, ни Табакова, не говоря уже об остальных, не спрашивают на этот раз ни о чем. Запомнилось, что Альфред Абдулович почему-то смотрит на меня сочувствующе и внимательно.

— Ну все, — говорит Качаев. — Можете быть свободны.

— Может быть, вы сообщите мне результат? — спрашиваю я у него.

— Гм-м... Вам сообщит лечащий врач.

Ухожу. И буквально следом, застав меня еще в проходе, выбегает Любовь Иосифовна.

— Ну вот, Виктор Александрович! А вы боялись... Видите, все хорошо!

— Что значит, хорошо?

— Ну, в вашу пользу. Так, как вы хотели!

Она улыбается, глаза ее сияют.

В конце длинного, на двух или трех листах, акта экспертизы, с которым познакомился месяц спустя, уже после заключения о моей вменяемости, вдруг прочел развеселившие меня строчки:

"Временами старается незаметно для персонала настроить отдельных испытуемых против порядков, установленных в отделении института".

Не знаю, о чем это. Разве о моих требованиях ручки да прогулки? Маленькая, булавочная месть Любви Иосифовны — предупреждение ГУЛагу о моей... склонности "настраивать против".

ВОЗВРАЩЕНИЕ В БЕЗДНУ

Буквально через 10-15 минут после комиссии за мной пришли.

— Ну все, голубчик. Поехали...

Не знаю, что было написано в эту минуту у меня на лице. Но какой-то легкий стресс я, конечно, пережил. Так всегда бывает и не может не быть в стране ГУЛаг в ту единственную, всегда неожиданную минуту, когда надзиратель распаивает перед тобой дверь в неведомое, выкрикнув вместе с фамилией:

— Собирайся с вещами!

Я собрал свои "вещи".

— Не сердитесь на меня, Виктор Александрович, — сказал Полотенцев. — Я желаю вам легкой доли. Не унывайте. И... не жалейте этих обезьян!

И вот я снова на первом этаже, в какой-то каморке, заставленной мешками. Выдают мои вещи. Сапоги скомканы — слежались в мешке и покрыты налетом скользкой плесени. Телогрейку словно корова жевала. Все какое-то влажное,

липкое. Меня сопровождает нянька Анна Федоровна, помогает нести мешки. Вместе со мной одевается какой-то парень лет двадцати семи, все время балагурит с няньками и кастеляншей, сыплет шуточками. Нас обоих выводят во двор, сажают в воронки. Тот же низкорослый капитанчик с портфелем, что привозил меня из Бутырки, вскакивает в кабину.

Газ. Толчок. Мы с парнем хватаемся друг за друга. Поехали. Прощай, Институт Дураков!

По пути знакомимся. Мой спутник жеманно, как деревенская барышня на танцах, протягивает ладонь и представляется:

— Человек Двадцать Первого Века.

Ах, оставьте! Не хватит ли с меня? Впрочем, я уже не удивляюсь. За короткое время я был знаком с американским президентом... с египетским фараоном... почему бы не явиться еще одной именитости, на этот раз — хватай выше — из будущего?

Воронок скрипит резиной, лязгают запоры, раздвигается стена. Вот я и снова на бутырском дворе. Те же следы, те же таблички, те же процедуры... Шмон. Здесь он доведен до совершенства. Отбирают сгущенное молоко и шоколад — довольно, сладкая жизнь кончилась. Снова ведут стричь лобки... Потом в баню. Пока моемся, в соседнее отделение загоняют женщин. Стены тонкие, слышен визг, смех, плеск воды. Человек Двадцать Первого Века распластывается по стене:

— Девчонки! Поговорите со мной! Вы голенькие? Наташа — это кто? Какие у тебя грудочки? Хотела бы ты сейчас? Ой!..

И ко мне, извинительно:

— Понимаешь, я ведь десять лет женщины не видел...

Под женский говор и визг переговаривается с невидимой Наташкой, сопя и корчась.

Да, это уже тюрьма...

В ЯНВАРЕ 1978 ГОДА ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ

КНИГА

ЭДУАРДА ШТЕЙНА

"ПОЭЗИЯ РУССКОГО РАССЕЯНИЯ 1920-1977"

"Запад должен знать, что, где и когда писали русские поэты-изгнанники. Книга эта, надеюсь, поможет свободному читателю будущей России. Ценнейшее качество поэзии нашей диаспоры — глубочайшая духовность, позволяющая ей существовать вне родной питательной среды, с успехом замененной возвеличивающим сознанием свободы. Что принесло свободное творческое созидание, что передают в наследство потомкам поэты рассеяния, что сделали они для России — обо всем этом повествует эта книга".

Эдуард Штейн

Это библиографический справочник о произведениях 750-ти поэтов русского Зарубежья.

Цена книги в предварительной продаже — \$6.00.

Нормальная цена книги — \$8.00, включая пересылку.

Заказы направлять по адресу:

E. SZTEIN, 7 Miles Ave., Woodbridge, Conn. 06525. U.S.A.

ОДИН ВЕЧЕР В ДОМЕ ПАНОВЫХ

Вот уже три года они на Западе, израильские граждане, гастролирующие по всему миру. Три года — пятнадцать стран, работа с разными постановщиками и в разных труппах, самостоятельная хореографическая деятельность. Но в коротких перерывах — всегда Израиль, Иерусалим, где лишь недавно Пановы купили квартиру, свой первый дом после Ленинграда.

Мы сидим в этой квартире в Рамат-Эшколе, занимающей целый этаж. Стены обиты тканью, кожаные диваны, китайские ширмы с перламутровыми вазами и дамами. Все ново и красиво, но квартира еще не обжита, еще не хватает тех мелочей, которые делают дом домом. Гости под стать кочевой жизни хозяев — американский антрепренер, немецкий профессор, очаровательная израильская женщина-генерал, новая иммигрантка специалистка по Достоевскому, приехавшая недавно из России. Идет шумный беспорядочный разговор. Но вот Валерий включает видеомэгнитофон с записями их выступлений. Мы присутствуем при редком зрелище: артисты смотрят свой собственный спектакль, комментируют его, разбирают удачу и неудачи. Им, конечно, виднее, какое-то па получилось неточно, но нас, нескольких зрителей, спектакль захватывает настолько, что то и дело раздаются невольные аплодисменты, вроде бы и неуместные в дружеском кругу во-круг телевизора.

Пановы замечательно работают вдвоем. Каждый сохраняет свою индивидуальность и оттеняет индивидуальность другого. Валерий — не только прекрасный технический исполнитель, но изумительный актер, тяготеющий к пантомиме, к сюжетному балету. Галина — непревзойденная балерина, созданная для лирических ролей классического балета.

В "Арлекинаде" Дриго "перевес", пожалуй, на его стороне. Здесь выявляется и его техника с восхитительным двойным "тур жете", и мимический гений, который держит в напряжении аудиторию. Но и Галина разворачивает перед нами свое мастерство, принесшее ей золотую медаль на Международном конкурсе балета в 1968 году в Варне. Это па де де поставлено самим Пановым.

Другое па де де — бессмертное "Адажио" Альбинона. В драматическом дебюте Панов, завернутый в большое черное мантио, широким жестом распахивает его, и оттуда выпархивает Галина, одетая в длинное и легкое белое платье. Костюмы и манеры напоминают работы Боттичелли. Пановы воссоздают наполненную сдержанным лиризмом атмосферу Ренессанса. Здесь главная роль, скорее, принадлежит Галине.

Затем переходим к сюжетным балетам. "Петрушка" Стравинского был впервые поставлен в Париже в 1911 году Дягилевым с костюмами Бенуа. Сейчас принято ставить его в хореографии Фокина, но

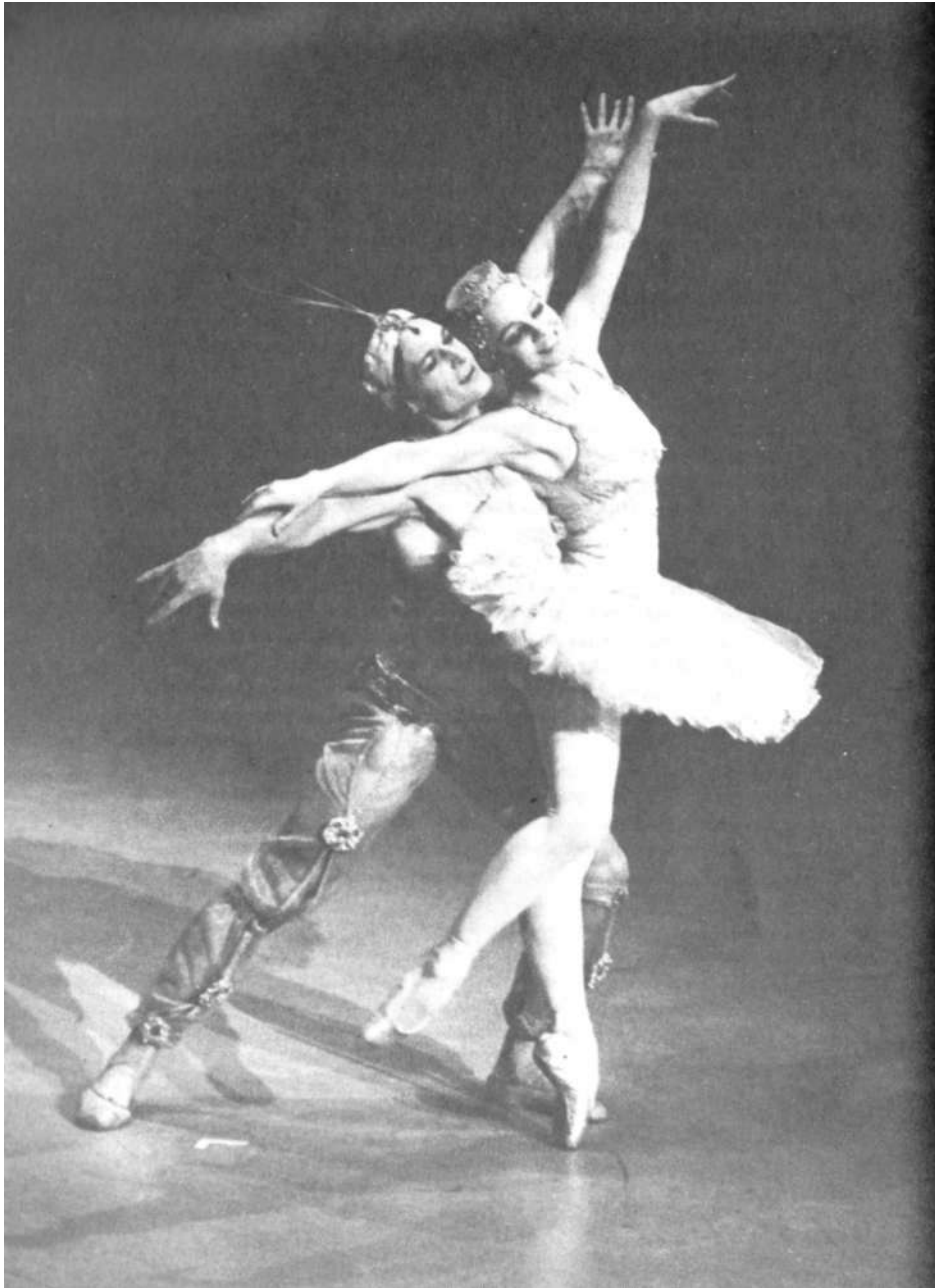
Панов предлагает несколько отличную от классической версию, привезенную из России. Критики отметили "дерзость" Панова, но вместе с тем во всех рецензиях говорилось, что он сделал то, что было бы невозможно при самом уважительном подходе к авторитетам — он внес новую жизнь, страсть и боль в характер Петрушки. Это трагическая история двух марионеток, которые более человечны, чем окружающее их общество.

И, наконец, "Весна священная" Стравинского. Балет, поставленный Пановым в Берлинском театре оперы и балета, стал их настоящим триумфом в Германии. Это — один из великих балетов века, который до Панова ставил целый ряд хореографов, начиная с Нежинского. И все-таки Валерий нашел свой стиль. Он освободил действие от западных попыток актуализации и вновь перенес его на русскую почву, "протоязык" этого балета. Замечательному танцору удалось выявить тяжелую и страстную стихию русского языка.

Несколько слов о планах Пановых.

У них приглашения из многих стран, их спектакли неизменно вызывают восторженный энтузиазм прессы, хотя не все удается им в равной степени. Но ситуация приглашенных звезд, которые каждый раз должны приспосабливаться к новой труппе, ограничивает их. В планах Панова — переключиться на деятельность балетмейстера. Он мечтает поставить "Идиота" Достоевского с Натальей Макаровой в роли Настасьи, с Барышниковым в роли Мышкина, с Галиной в роли Аглаи. Сам он хочет выступить в роли Рогожина. Панов делится своими планами — и его гостя, специалистка по Достоевскому, оживает: "Скажите, какова Ваша концепция "Идиота"? Мне очень интересна Ваша интерпретация". Валерий разочаровывает ее: "Поймите, я узкий специалист. Я занимаюсь балетом. Я знаю, как выразить музыку, мысли и чувства движением, но я часто не могу сформулировать это словами".

Галина Келлерман



Корсар, Сидней, Сидней-Опера, 1976

"Арлекинада", дебют в Лондоне, ББС — программа, 1975





"Петрушка", Сидней, 1976



Монреаль. 1976. Репетиция

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ. Поэт и драматург. Родился в Москве в 1919 году. Окончив студию Станиславского, во время войны работал во фронтовом театре. С 1945 года становится профессиональным драматургом. В СССР поставлено десять пьес Галича, среди них: "Вас вызывает Таймыр", "Будни и праздники", "Походный марш", однако, лучшие его произведения этого жанра — "Матросская тишина", "Август", "Я умею делать чудеса" — были запрещены. А. Галич — один из создателей фильмов "Верные друзья", "На семи ветрах", "Бегущая по волнам" и др. Начиная с шестидесятых годов истинным призванием А. Галича стали стихи-песни, разошедшиеся в магнитофонных записях по всему миру. В 1971 году А. Галич был исключен из Союза писателей, Союза кинематографистов, а также из Литфонда и вынужден был эмигрировать из СССР. Трагически погиб в Париже в декабре 1977 года. "Блошинный рынок" — последнее произведение, написанное А. Галичем незадолго до смерти, — публикуется в журнале "Время и мы".

ЛЕОНИД ГЕЛЛЕР. Литературный критик. Родился в 1945 году в Москве. По окончании школы пытался стать архитектором, однако не стал им. Затем до 1969 года жил в Варшаве, откуда эмигрировал во Францию. Кончил факультет славистики Сорбоннского университета. В настоящее время преподает историю русского языка в университете в Лозанне.

Д-р Г. РОЗЕНБЛЮМ. Журналист, главный редактор газеты "Едиот Ахронот". Родился в Литве. Учился в русских гимназиях в Витебске, а затем в Каунасе. Окончил факультет государственных наук в Венском университете, а затем юридический факультет Каунасского университета. Был политическим секретарем ЦК сионистского движения возглавляемого Жаботинским. В 1935 году, после раскола партии Жаботинского, оставил ее, иммигрировал в Палестину. Здесь в течение двенадцати лет был сотрудником ежедневной либеральной газеты "Абокер". С 1948 года — главный редактор газеты "Едиот Ахронот". Д-р Г. Розенблюм участвовал в восьми Сионистских конгрессах и был одним из тридцати семи, подписавших Декларацию независимости Израиля в 1948 году.

ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА. Литературный критик. Родилась в 1942 году. В течение ряда лет, после получения высшего образования, была журналистом, выступала в ряде газет и литературных журналах. С начала 1977 года, вместе со своим мужем Владимиром Соловьевым, решила порвать с советской литературой и журналистикой. 30 марта 1977 года Владимир Соловьев и Елена Клепикова сделали западным корреспондентам в Москве заявление о цензуре и антисемитизме в связи с кампанией против Анатолия Щаранского, а несколько позже организовали независимое информационное агентство "Соловьев-Клепикова-Пресс", поставившее своей целью давать достоверную информацию о Советском Союзе. В том же 1977 году Владимир Соловьев и Елена Клепикова эмигрировали в Соединенные Штаты Америки.

"ВРЕМЯ И МЫ" - 1975-1977 годы

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

номера
журналов

Проза

Арьев А.	Долгота дня	23
Беллоу С.	Рукописи Гонзаги	15
Бахтин Б.	Ванька-Каин	14
Воронель Н.	Утомленное солнце	7
Галич А.	Блошинный рынок	24
Гиршович Л.	Царственный миг	20
Гиршович Л.	Смерть выдает себя	21
Довлатов С.	Два рассказа	14
Довлатов С.	Невидимая книга	24
Зиник З.	Извещение	8
Зиник З.	Перемещенное лицо	22,23
Иошуа А.	В начале лета — 1970 (в переводе М. Ледера)	10
Иошуа А.	Затяжной хамсин, жена и дочь (в переводе М. Ледера)	16,17
Каплан Р.	Наша армянская кровь	16
Кестлер А.	Тьма в полдень (в переводе Г. Бена)	1,2
Киплинг Р.	Евреи в Шушане	3
Левитин Л.	Соседи	20
Луз Ц.	Шуламит (в переводе А. Белова)	13
Марамзин В.	Человек, который верил в свое особое назначение	15
Марголин Ю.	Путешествие в страну Зэка	8
Меламид Л.	Сладкая жизнь Никиты Хряща	11
Меламид Л.	Ехать — не ехать	19
Мерас И.	Полчаса в незнакомом доме	12
Некрасов В.	Персональное дело коммуниста Юфы	5
Нечаев В.	Последний путь куда-нибудь	18
Норильский Б.	Черное и белое	20,21
Орбах Д.	Судный день	14
Снегирев Г.	Автопортрет	22
Суслов И.	Прошлогодний снег	3,4
Филандров В.	Искусственное сердце	17
Хазанов Б.	Глухой, неведомой тайгою	5
Хазанов Б.	Час короля	6
Хазанов Б.	Страх. Частная и общественная жизнь начальника станции	9
Хаксли О.	Счастливы новый мир (в переводе Г. Бена)	17,18,19
Хласко М.	Обращенный в Яффо (в переводе Р. Нудельмана)	11,12
Хласко М.	Два рассказа	12
Цветков Е.	Киностудия. Удача	7

Цветков Е.	Два рассказа	16
Цеплюевич Г.	Два рассказа	3
Шенбрунн С.	Брат мой. Аня. Мальчик	9
Шульман М.	Реб Нухем. Командарм у параша	16
Шульман С.	Врун. Шлюха	10
Ямпольский Б.	Большая эпоха	13

Поэзия

Авидан Д.	Молитва от сердца к сердцу (в переводе С. Гринберга)	4
Айзенберг М.	Стихи одного года	8
Аронзон Л.	Здесь я царствую, здесь я один	15
Бен Г.	Из новых переводов	11
Бокштейн И.	Ты на земле ошибка	10
Бродский И.	Для этих нот не существует клавиш	17
Векслер М.	Картинки жизни	22
Владимирова Л.	Арабески	2
Владимирова Л.	Отчего эта свежая боль	9
Владимирова Л.	Баллады о временах года	11
Владимирова Л.	Моя душа — моя работа	16
Владимирова Л.	Про это утро	20
Волохонский А.	Треши бакалавра	6
Волохонский А.	Гвоздями забитые рты	9
Волохонский А.	В небе камень-луна	12
Волохонский А.	Стихи с базара	16
Волохонский А.	Хвостенко С. Песня	24
Воронель Н.	Стихи	4
Галич А.	Притча. Песок Израиля	3
Гефт Е.	Лирическая мозаика	13
Гринберг С.	Рельсы вразброд	5
Глазова М.	Знак одиночества	15
Глозман В.	В пределах упругости	14
Горбаневская Н.	Долгое прощанье	23
Горбунова А.	Кольцо запрета	22
Губанов Л.	Преклонив колени	21
Делоне В.	Слова стучат по дну души	21
Дубнов Е.	Лирическая мозаика	13
Жигалов А.	Стихи разных лет	7
Ионатан Н.	Стихи (в переводе Л. Владимировой)	3
Иоффе Л.	Вновь как заново	8
Иоффе Л.	Пламя для гербария	20
Камянов Б.	Похмелье	9
Камянов Б.	В этом мире я бродяга	14
Камянов Б.	На дымном пепелище	18
Карабчиевский Ю.	Трамвайная Москва	24
Киплинг Р.	Стихи (в переводе Г. Бена)	2
Коржавин Н.	Поэма существования	1
Коржавин Н.	Уходим в тревожное "прочь"	15
Корин Г.	Если все живут в обмане	18

Кранцберг Л.	Лирическая мозаика	19
Крепе М.	Слова — живые существа	16
Кузьминский К.	Вавилонская башня	24
Левинзон Р.	Корни	10
Легкая И.	Губка человечества	18
Либерман А.	Перевод сонетов Шекспира	18
Наумов В.	Сотворение мира	15
Нэш О.	Стихи (в переводе Г. Бена)	5
Охапкин О.	Современные стихи	23
Поляков Б.	Измерен мир, отмерены срока	14
Равикович Д.	Гордость (в переводе С. Гринберга)	4
Рубин И.	Горечь памяти	6
Рубин И.	Баллада о глиняном Боге	9
Рубин И.	Прикован к пушкинским размерам	16
Синкевич В.	Из лирической тетради	5
Синкевич В.	Лирическая мозаика	19
Филановская Т.	Лирическая мозаика	19
Фогель Д.	Лирическая мозаика	13
Хвостенко А.	Зимний сонет	7
Хвостенко А.	Лирическая мозаика	13
Хвостенко А., Волохонский А.	Песня	24

Публицистика, философия, религия

Агурский М.	Двуликий Сталин	18
Бар-Йосеф И.	Истина в беллетристике и публицистике	12
Бруцкус Э.	Сжигать ли мосты?	15
Бубер М.	Национальные боги и Бог Израиля	4
Бубер М.	Путь человека	6,7
Воронель А.	Андрей Сахаров и современный мир	3
Воронель А.	Время размышлять	6
Гильбоа Е.	Ценности в обезличенном мире	19
Зоар Э.	Ваш дом здесь	18
Каганская М.	Любовь побеждает смерть	15
Каганская М.	Наследники Толстоевского	16
Каганская М.	Внебрачная ночь	20
Кац З.	Завтрашний день человечества	4
Кац З.	Вера для неверующих	11
Кестлер А.	Тропа динозавра	10
Кестлер А.	Человек — ошибка эволюции	17
Кестлер А.	Политические неврозы	23
Левина А.	Люди остаются людьми	14
Ледер М.	Афера	11,12,13
Ледер М.	Этот прекрасный преступный мир	21
Львов А.	Искусство, наука и игра	6
Орлов Б.	Не те вы учили алфавиты	1
Орлов Б.	Миф о Фанни Каплан	2,3
Орлов Б.	Пути-дороги римских пилигримов	14
Перельман В., Шаховская З.	Третья эмиграция	14
Перельман В., Розенблюм Г.	Крушение чуда: причины и следствия	24

Пирогов С.	Волк у твоего горла	20
Прат Н.	Психология осажденных	18
Розенблюм Г., Перельман В.	Крушение чуда: причины и следствия	24
Розенфельд Ш.	Духовный кризис: истоки и парадоксы	17
Рубинштейн Н.	Кто читатель?	7
Сакар Ш.	Политические близнецы у баррикады	22
Синявский А.	"Я" и "они"	13
Текоа И.	Проблемы и парадоксы Ближнего Востока	1
Троппер М.	Алия в зеркале психиатрии	2,3
Тумерман Л.	Израиль: Европа или Азия?	5
Файн Г.	В роли высокооплачиваемых швейцаров	12
Файнгольд Н.	"Русские интеллектуалы" и Израиль	7
Хазанов Б.	Новая Россия	8
Шамир М.	Мир перед пропастью	8
Шаховская З., Перельман В.	Третья эмиграция	14
Шрагин Б.	Портрет с натуры	19
Штейнзальц А.	Кто мы: трагические актеры или самобытная нация?	1
Штейнзальц А.	Грех и искупление	6
Штейнзальц А.	Религия и мистицизм	10
Шторх Д.	Шанс, что дает Америка	1
Элиас	Сущность еврейства	5
Эльдад И.	В своем пиру похмелье	16
Эткинд Е.	Кленовый лист	21
Эткинд Е.	Капля крови	22
Ядин И.	Идеалы и дух нации	9

Критика

Аллой В.	Прорыве бесконечность	8
Белинков А.	Проглоченная флейта	6
Белинков А.	Собирайте металлолом	7
Геллер Л.	Мироздание Ивана Ефремова	24
Клепикова Е.	Земля Иванов да Емель	24
Коган Э.	Угол расхождений	21
Марамзин В.	Актерствующий Горький и русский народ	17
Перах М.	Факты или селекция образов?	4
Прат Н.	Чувство истории	20
Рубин И.	Раскаяние и просветление	10
Рубин И.	Своеволие Бориса Хазанова	15
Рубинштейн Н.	Выключите магнитофон — поговорим о поэте	2
Рубинштейн Н.	Берлиозы — совратители на пути России	3
Рубинштейн И.	Без псевдонимов и без грима	5
Рубинштейн Н.	Абрам Терц и Александр Пушкин	9
Рубинштейн И.	Жить во лжи	11
Рубинштейн Н.	Сквозь исповедь сына века	12
Рубинштейн И.	Сказание о земле Ибанской	16
Рубинштейн И.	Билет на панихиду	18
Рубинштейн И.	Дом, которого нет	19
Синявский А.	Театр Галича	14

Соловьев В.	Цвет времени	21
Суварин Б.	Солженицын и Ленин	22,23

Из прошлого

Баазова Ф.	Прокаженные	4,5,6
Байкальский Д.	Кашкетинские расстрелы	11
Вилковский К.	Похороны Пастернака	9
Вилковский К.	Прощание с Олешей	19
Глезер А.	И грянул бой	22
Гусаров В.	Мой папа убил Михоэлса	12
Иоффе М.	Начало	19,20
Марголин Ю.	Сентябрь 1939	13,14,15
Михоэлс-Вовси Н.	Убийство Михоэлса	3
Некипелов В.	Институт Дураков	23,24
Перельман В.	Гайд-парк при социализме	1,2
Перельман В.	Я немец	7
Перельман В.	Отрицание отрицания	8
Сгефанек М.	Прага, 21 августа	16,17,18
Улановская М.	Конец срока — 1976 год	9,10
Улановская Н.	В России и за границей	21
Шатуновская Л.	Загадка одного ареста	5
Шульман М.	Петроградская гастроль кантора Шульмана	12

"ВРЕМЯ и МЫ" - 1978 год.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ В ИЗРАИЛЕ:

Сроком на 6 месяцев — 210 лир

на 12 месяцев — 384 лиры

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ:

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев — \$ 19.60 (авиапочта — 37.50)

на 12 месяцев — 39.20 (авиапочта — 75.00)

Цена номера в открытой продаже — \$ 4.5

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев — F.FR. 92 (авиапочта — 155)

на 12 месяцев — 184 (авиапочта — 310)

Цена номера в открытой продаже — F.FR. — 23

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев — DM 46 (авиапочта — 88)

на 12 месяцев — 92 (авиапочта — 176)

Цена номера в открытой продаже — DM — 11

бланк для ПОДПИСКИ на 1978 год на обороте

"ВРЕМЯ и МЫ" - 1978 год.

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1978 ГОД

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высылать с номера

Журнал высылать по адресу:

Приложен чек

Подпись Дата

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по русски — и высылается по адресу:

P.O.B. 24123, Tel Aviv или 62/9 Nachmani St., Tel-Aviv

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1978 ГОД

Авиапочтой **сроком на 6 месяцев**

Обыкновенной почтой **на 12 месяцев**

Журнал высылать с номера

Журнал высылать по адресу:

Приложен чек

Подпись Дата

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: **P.O.B. 24123,**

Tel-Aviv, Israel или 62/9 Nachmani St., Tel-Aviv



ТАКИХ БОЛЬШИХ ПРИБЫЛЕЙ
ЗА ТАКОЕ КОРОТКОЕ ВРЕМЯ
ЕЩЕ НЕ БЫВАЛО



1. И.Г. из Ашдода: 1 октября 1977 г. я вложил в сберегательную программу "ИТРОН ХАЙ КИФЛАИМ" 5000 лир. Сегодня на моем счету 6.395 лир.
2. М.Ц. из Тель-Авива: я вложила в сберегательную программу "ИТРОН ХАЙ КИФЛАИМ" 10.000 лир в октябре 1977 года. Сегодня на моем счету 12.789 лир.
3. (4.Л. из Хайфы: Сегодня на моем счету 46.041 лира, после того, как в ноябре 1977 года я вложил в сберегательную программу "ИТРОН ХАЙ КИФЛАИМ" 36.000 лир.

Тот, кто вложил 36.000 лир, получил прибыль 10.041 лиру, и сейчас на его счету 46.041 лира. (При условии, что деньги вложены на срок не менее 6-ти лет).

Сумма прибыли для того, кто участвует в этой сберегательной программе, включала в себя: 3.600 лир немедленную премию и еще 6.441 лиру, как результат прикрепления суммы сбережений к индексу повышения цен к сентябрю 1977 г.

ВСЕ ПРИБЫЛИ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ИТРОН ХАЙ КИФЛАИМ" ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГА.

בנה דיסקונט

Зав. редакцией и корректор Марина Голубева

Технический редактор Эфраим Алелов

Художник Лев Ларский

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

**Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п. я. 24123, Тель-Авив. Тел. 621085.
62/9 Nachmani st. T.-A. Tel. 621085.**

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, февраль 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки — Валерий и Галина Пановы.
"Весна священная", Берлин, Немецкая опера, 1977.**

